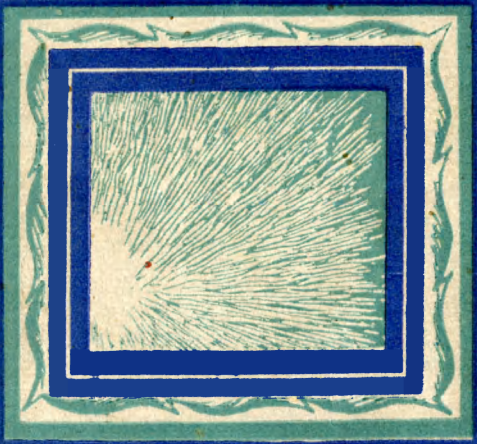
СОФУС МИХАЭЛИС

НЕБЕСНЫЙ КОРАБЛЬ



МЫСЛЬ
1927

Настоящее издание напечатано
в типографии Первой Ленинград-
ской Артели Печатн. Ленинград,
Моховая, 40.
Ленинградский Гублит № 36677.
Тираж 4000 экз.—19 печ. лист.

МЫСЛЬ

СОФУС МИХАЭЛИС

НЕБЕСНЫЙ КОРАБЛЬ

РОМАН

Перевод с датского
А. и М. ГАНЗЕН

Издательство «МЫСЛЬ»
Ленинград

«*Небесный корабль*»—одно из последних произведений *Софуса Михаэлиса*, известного датского писателя-романиста, драматурга и поэта.

Софус Михаэлис, сын бедного ремесленника, получил, по счастливому стечению обстоятельств и благодаря своим блестящим способностям, весьма солидное образование. Прекрасное знание иностранных языков: французского, немецкого и латинского облегчило ему серьезное изучение увлекавшей его истории искусства, и он еще в молодые годы приобрел репутацию компетентного и отличающегося тонким вкусом художественного критика.

В изящной литературе Софус Михаэлис дебютировал 23-х лет от роду (1882 г.) сборником стихов, обнаруживших в нем не только восторженного поклонника красоты, но и чуткого, сознательного художника-творца.

Еще больше укрепил за ним эту позицию роман «Остров любви» (1895 г.), настоящая поэма в прозе, насквозь пропитанная культом прекрасного и представляющая оригинальное сочетание романтической поэзии, народного эпоса и реалистически-смелых описаний средневекового быта. Эти описания составляют культурно-историческую рамку ярко и сочно написанной картины любви героев.

Влюбленность в средние века, с одной стороны, и влияние Флобера, с другой — Софус Михаэлис сам перевел на датский язык «Саламбо» и «Искушение св. Антония»—отразились затем в целом ряде оригинальных, стилистически-выдержанных произведений—романов и новелл, завоевывавших автору все более и более видное место в датской литературе. Всеевропейскую же известность имя Софуса Михаэлиса получило после того, как драма его «Революционная свадьба» (1906 г.) обошла буквально все европейские сцены. Драма «Св. Елена» имела почти такой же успех. В 1912 г. вышел также посвященный судьбе Наполеона монументальный роман «Вечный сон», а в 1914 г. роман из времен греко-персидской войны: «Эллины и варвары».

Вперемежку с упомянутыми произведениями в прозе Софус Михаэлис писал и стихи, полные настроения и отличающиеся техническим мастерством, составившие затем сборники: «Солнечные цветы» и «Цветочный дождь».

Выбор тем вообще обусловливается у Софуса Михаэлиса его высокою художественною культурой, а их разработка—его художественною натурою. Характерные черты его творчества — стилистическая изысканность, яркая красочность, граничащая с цветистостью, богатство фантазии и солнечная радость жизни, соединенная с культом красоты.

В «Небесном корабле» (1921 г.) на эти черты как-будто наброшена легкая дымка возрастом автора (род. в 1865 г.) и условиями современности: роман написан под впечатлениями мировой войны. Они заставили Софуса Михаэлиса на время отвратить взоры от любимой, прекрасной и греховной земли и искать мира, гармонии тела и духа на иной планете. Многое в романе, в особенности же самое заключение его, не позволяет однако поверить, что сам автор остался доволен тем разрешением земных противоречий, земной борьбы за существование, которое нарисовала ему его фантазия, унесшись межзвездные пространства.

Анна Ганзен.

20/xi 1924 г.

I

Озеро Неми.

Оно неизгладимо запечатлелось в памяти Эрколэ Сабенэ. Навевало ему нежнейшие мечты. Как мечта, было само озеро в глубине старого кратера. Ртутью сверкало там, словно на дне зеленой яшмовой чаши, улыбаясь ослеплявшему его солнцу. Зеркало, оброненное Дианой! Затуманенное дыханием незримых уст богини, подергивающееся рябью от их дуновенья, отражающее золотом солнца пронизанную лазурь— прикованный к земле распаленный взор.

Не ветер, самый воздух, струясь, рябил чуткую гладь озера, образуя как бы мигающее веко над оком озера. С глубины сотен футов, с самого дна смотрела из-под мигающего века душа озера. Прохладное, живительное, зеленое и нежное заполняло оно круглою жемчужиною замкнутый кратер, откуда тысячи лет назад преисподняя изрыгала в небо алое пламя, выплескивая расплавленные гранит и базальт.

Зияющая рана земной коры затянулась, лава застыла по краям, образовав водоем, где бесчисленные горные ручьи сливались в озеро. Котел, кипевший пламенем, наполнился живительною влагою и обвился зеленью виноградников, каждое лето высоко вздымавших свои гроздья на пирамидальных подставках.

Явилась Диана и поселилась на склоне кратера, укрыв свой алтарь за темными дубами, шепчущими кипарисами, зыбкими пиниями. Все здесь жило и дышало ею. С ее распущенных волос скатывались бронзовые шишки—головные украшения, пряжки и сережки. Ее сандалиями примят был мох под пиниями. От ее тела струилось пряное тепло, когда она сидела на солнце, на террасе своего храма, с улыбкой дыша на озеро, наводя на него сизый налет спелого винограда.

Мечтательно бродил Эрколэ Сабенэ по тихому саду цезарей, одиноко блуждал по извилистым дорожкам, между туфами, опутанными длинными водорослями, по которым струилась ключевая вода.

К ногам его свалилась кипарисовая шишка—сережка невидимой богини, духом которой веяло здесь от всего. Не даром шептались кипарисы. Сонные мирты струили аромат. Лавры задумчиво прикрывали своими длинными узкими листьями пышные желто-зеленые кисти цветов. В их фиолетовой тени черными бусами рассыпались плоды.

У самого края кратера лежала колонна, поросшая мхом, но разбившаяся, очевидно, недавно, так как

излом сверкал чистою мраморною белизною. Эрколэ Сабенэ присел на колонну — остаток храма Дианы — и погрузился в созерцание зеленого, незрячего, загадочного ока озера.

Там, на глубине сотен футов под водою, затонула глава древней истории, как сухая листва, опавшая с древа минувшего. На этих водах красовался некогда императорский корабль—настоящая сказка из бронзы, мрамора и цветного дерева. Под сенью пурпуровых парусов белели статуи. Золоченые реи струнами эоловых арф тянулись над белым мрамором. И все это поглощено озером. Тысячи две лет единственным живым экипажем затонувшего корабля были рыбы, немые пловцы, молча скользившие между мраморными обломками и бронзовыми скелетами. Частица фантастической древности затонула здесь со всем живым и мертвым грузом; погрузилась на дно греза императора, римская Атлантида в миниатюре, на дно вечно спокойного, невозмутимого озера. Эрколэ Сабенэ видел в музее извлеченные из воды мраморные останки сказки, словно изъеденные волчанкой; бронзовые волчьи головы с огромными кольцами в зубах; свирепый пламенный лик Медузы, подернутый ядовитой зеленью патины; опаловые и радужные стеклянные сосуды, словно преломившие в своих стенках самое солнце древности.

Корабль... императорский корабль... мечта повелителя... игрушка, затонувшая в купальне Пана. Мыль-

ный пузырь, засверкавший по прихоти тирана и растворившийся, подобно жемчужине, в «живом серебре» озера Неми. Сама история, бесследно канувшая в Лету, в бочку Данаид, пробуравленную Вулканом.

Эрколэ Сабенэ очнулся от грез, заслышав над собой быстрое, шумное стрекотанье, будившее эхо в тихом, прозрачном воздухе, стеклянным колпаком нависшем над озером.

Да, вот он, дивный прогресс, волшебный дракон изобретателей, стрекочущий триумф современного революционного духа: «Глядите на меня! Это я разрешил величайшую проблему! Я претворил в действительность мечту тысячелетий, выковал крылья для плеч человечества. Слушайте, как я могуч! Силою взрывов я преодолеваю закон тяготения, отрываюсь от грузной земной массы. Я похитил тайну полета у птиц небесных. Я создал летунов, более крупных и могучих, нежели когда-либо снилось самой природе!»

Да, это мчался гигантский летучий ящер техники, несомый богатырскими крыльями, управляемый человеческим мужеством, мчался, со свистом рассекая чистый прозрачный воздух, но за собою оставляя клубы зловония. Не птица, нет, искусственный, механический, бездушный дракон. Воплощенная воля, воплощенная сила взрыва.

Эрколэ Сабенэ погрузился в раздумье. Он, как почти все люди, был натурой двойственной. Или вернее: в нем жил раздвоенный язык, постоянно

споривший сам с собою. Это не был—по банальному выражению—«голос совести» с его кротко-укоризненным, наставническим тоном. Нет, в душе Эрколэ Сабенэ препирались два острых Терситовых жала, похожие на двух змей, дыбом поднимавшихся на своих хвостах и обливавших друг друга желчью.

Эрколэ Сабенэ соединял в себе консервативное упрямство осла и мятежный задор дикой кошки. Наивность и горький опыт жизни. Суеверие и скептицизм. Оптимизм и цинизм. Да, раскол в его душе был настолько глубок, что он одновременно мог быть и шовинистом и космополитом, юдофилом и юдофобом, верующим и неверующим. Благодаря такой двойственности, он мог с жаром славословить изобретателей, как героев духа, и в то же время говорить, что не находит слов—достаточно заклеймить этих «техников», которые каждым новым своим «изобретением» все больше и больше вытравляют из мира всякое духовное начало.

И в данную минуту Эрколэ Сабенэ, стоя на берегу озера Неми, стал изрыгать хулы вслед этой «человеческой птице», якобы олицетворявшей высшее достижение человеческого духа. А в сущности-то, если рассуждать здраво, что это, как не отвратительный стрекочущий аист, пускающий из-под хвоста струю зловония?.. Как не грубая и неуклюжая «Deus ex machina», которая с помощью грубейшей двигательной силы—силы взрыва—отделяется от земли и с шумом и смра-

дом устремляется в небесные сферы.. У руля же сидит сам «герой», кичливый дерзкий фигляр, и «смердит» в облаках, и кувыркается в воздухе, и проделывает разные другие глупейшие акробатические штуки. Ну, видано ли когда-нибудь, чтобы, например, орел кувыркался в воздухе или ласточка вертелась мельницей? Летательный аппарат совершенно так же гениален и материален, так же бездушен и груб, как всякое другое техническое изобретение, имитирующее природу применением грубой движущей силы и механики. Какой прогресс! От очаровательных парусных судов, что носились по волнам океана, подобно лебедям с распущенными крылами—к тяжеловесным колоссам с набитыми углем легкими, с хрипом и храпом ползущим по воде! Механические киты, неповоротливые, неуклюжие! А в полное подражание этим чудовищам, чтобы не отстать от них и в нырянии, додумались накачивать им в брюхо воды. И все-таки какое мертвое и варварское подражание природе эти подводные лодки! И как груба, бездушна цель!

Да, сама жизнь показала, насколько бездушна человеческая механика. Любая птица, парящая в воздухе, может пристыдить человека-летчика с его шумным пропеллером. Лишь в тот день, когда стрекочущий дракон перестанет двигаться в воздухе силою вонючих взрывов, научится скользить с бесшумной грацией ласточки или сокола, лишь тогда можно считать, что человек выучился летать. Разве не недостой-

ная двигательная сила—гремучий газ?.. Увы! Люди превратили природу в кузницу.

И все же глаза Эрколэ Сабенэ сверкали, когда он следил за летчиком, кружившим над озером Неми. Тот, там наверху, тоже наверно прилетел сюда с целью насладиться на просторе красотами природы. Аппарат властно рассекал пространство, а края кратера салютовали, эхо отбрасывало звуки от одного края к другому.

Но, основательно обругав про себя «дракона», Эрколэ вдруг загорелся восторгом и пожалел, что не сам парит там наверху, в кожаном костюме, гордый, как бог, с глазом циклопа и с сильно бьющимся от дерзкого полета сердцем. Весь этот адский шум и вонь—ведь только стоны и возмущение мертвой материи, порабощенной духом человеческим. Воздух воет под ударами пропеллера, мертвая инерция с ревом негодует на это неудержимое стремление вперед, управляемое парой всемогущих кулаков. Ого! Человек направил свой полет прямо вверх, прочь от краев кратера, обрамленного ползучими растениями. Ввысь, в небесную лазурь! Звуков уже не слышно. Аппарат, подобно сверкающему златокрылому жуку, стремился прямо к палящему солнцу. Дивное зрелище! Бессмертная красота!..

Движущаяся точка исчезла. Эрколэ Сабенэ опустил глаза и снова устремил взгляд на серебристо-серое, молчаливое озеро, ревниво оберегающее свою

глубину, как-будто она поглотила всех римских цезарей, все корабли, все флоты и всех летчиков в мире. Да все и должно быть поглощено! Несовершенны все изобретения, хрупка каждая машина, непрочен любой корабль—дело ума и рук человеческих. Что остается еще завоевывать человеку? Все моря обследованы, все океаны измерены. Высочайшим триумфом мореплавания явилась подводная лодка, подобно коварной акуле несущая под водою гибель всему, что плавает по воде. Все гордые полеты фантазии воздухоплавания воплотились в этих шумливых летательных машинах, которые сбрасывают мешки с почтой и быстро переносят купцов, торопящихся обделывать свои гешефты.

Как жалко, как мизерно! Какое скудоумие, какая бедность фантазии! Никто не помыслил хоть на шаг отступить от проторенной дорожки «мировой торговли». Никто не отважился, очертя голову, ринуться в бесконечное пространство неизведанной вселенной!

II

Ядовитый газ.

Вопреки своему антимилитаризму, Эрколэ Сабенэ в один прекрасный день последовал по стопам прочей доблестной молодежи своего времени: тоже дал увлечь себя в ряды легионов, несущих разрушение

и уничтожение. И он обрел своего врага, и свой фронт, и свое «правое дело», за которое отправился убивать других людей. Подобно другим храбрым солдатам, он сражался за права своей родины, по его убеждению более священные, чем права обитателей других стран.

Он был храбр и честолюбив, и на его долю выпали лавры героя. Когда он приезжал с фронта в отпуск, в большие города, — его, как прочих героев, окружали в бальной зале толпы прекрасных поклонниц, жадно расспрашивавших о военных подвигах.

Идеалом всей нации были, разумеется, несравненные летчики, которые вели счет подбитым вражеским аэропланам, как индейцы скальпам. Перед самим Александром Македонским так не преклонялись, как перед двадцатисемилетним королем летчиков, истребителем чужих летунов, побившим всемирный рекорд. Спустить своего противника вниз, с высоты нескольких тысяч метров, в виде пылающего скелета или обуглившейся падали, считалось величайшим геройским подвигом. Никогда раньше не знавал мир такой великолепной, опьяняющей охоты. Ни один охотник-убийца не испытывал более приятного возбуждения.

Вновь спускаясь с поднебесья на землю, герой расхаживал, гордо выпячивая грудь, сиявшую радугою нашивок. Эркюлэ Сабенэ называл эти знаки

отличия «спектральным анализом», когда в его душе брал перевес ненавистник войны.

Все храбрецы ходили с такими спектрами на груди. Эрколэ Сабенэ тоже. Похоже было, что сердце каждого подверглось спектральному анализу, результаты которого и были вывешены снаружи, на мундире; обилие синих, белых, красных, зеленых и желтых нашивок отвечало общей сумме мужества, находчивости, отваги и неустрашимости, ненависти и свирепости, проявленных героем, было пропорционально количеству брошенных им ручных гранат или нанесенных штыковых ударов.

По чередованию нашивок Эрколэ Сабенэ различал все степени воинских подвигов. Каждая нашивка имела ведь свое значение. Узкая ярко-зеленая означала на языке Эрколэ Сабенэ «спектр ядовитых газов». На своей собственной груди он еще не видел подобной нашивки, но с нервным трепетом возбуждения предвкушал ее несомненное появление.

Он бесспорно отличался храбростью. Правда, в нем попеременно брали верх два различных духа, но, по счастью, всегда случалось так, что в те моменты, когда ему надлежало действовать, очередь повелевать была как-раз за храбрецом-героем, а «ненавистник войны» вознаграждал себя потоком бешеной ругани лишь, когда дело было сделано, то есть слишком поздно. «Спектральный анализ» на его груди поэтому все ширился, даром что «отрицатель

войны» с беспомощным бешенством плевал на эту яркую радугу.

Однажды ночью он со своей командой занимал один из передовых постов в окопах и, лежа на земле, развлекался созерцанием летчиков, прожекторов и взрывов снарядов на фоне ночного неба.

Привычка отупляет. Его команда часто дремала, и ему приходилось то-и-дело тормошить людей, чтобы они не заснули, уткнувшись носом прямо в грязь.

Сняв с себя стеснительную противогазовую маску, Эрколэ встал подышать свежим весенним воздухом. К нему однако примешивался приторный тошнотворный запах удобрения, то есть разлагающихся трупов; в этих местах не могло быть другого удобрения.

Прожекторы начали раздражать его: они все глубже и глубже обшаривали окоп и время от времени самым беззастенчивым образом ослепляли Эрколэ. Глаза нестерпимо резало, и он моргал веками.

Вдруг он увидел летящие к его окопу небольшие лохматые шары, напоминавшие не то снежки, не то клубки шерсти. Один из них упал на дно окопа и не лопнул, а лежал и раздувался, наподобие зеленовато-желтого облачка.

Потом... оно вытянулось и поползло вперед большою серою змеей. Эрколэ вспомнилась было виденная им когда-то японская или китайская игрушка

в этом роде, но вдруг его охватил ужас, сердце тяжелым молотом забухало в груди: да ведь это же газ... ядовитый газ! Этот удав, ползущий по дну окопа, в одно мгновение заполнит весь ров, заползет в его легкия, чтобы пожрать их!.. Эрколэ с такой силой прижал к лицу маску, что у него в глазах потемнело. Он хотел крикнуть солдатам своей команды, чтобы они встали и отбежали. Нужно было держать голову как можно выше: кто падал и вдыхал газ, погибал безвозвратно. Но крик застрял у него в горле. Он хотел перелезть через бруствер, чтобы спастись от смертоносного тумана, клубившегося уже в ногах у него, но шлем его вдруг зазвенел, словно по нему ударили заступом, и Эрколэ упал навзничь прямо в ядовитый туман... в Лету... в объятия смерти! Молочно-белая завеса заколыхалась перед его глазами, широко раскрытыми за стеклами маски. И он хлебнул ртом смерть, словно чудовищный глоток абсенту.

Странно, что смерть оказалась вовсе не так ужасна. Она наполнила его грудь сладко щекочущим ощущением, никогда еще не испытанным блаженством. Аромат, в роде запаха гиацинтов, лился ему в ноздри чистой и мощной струей, словно собираясь проникнуть в самый его мозг. Одновременно ощущался какой-то особый сильный кислородный запах, пьянящий, будящий страсть, отдающий каждый фибр его тела в обладание чужой неведомой силе. Он

содрогался, словно сжимаемый в чьих-то объятиях; его руки ослабли; он весь отдавался во власть этого мощного лобзанья смерти, весь целиком, и не желая ничего другого, как отдаться всецело.

Последний сознательный взгляд свой он устремил вверх, сквозь разбитое стекло маски. Что это? Звезды пляшут там наверху? Молочный поток газа уже наполнил все его существо. Легкия его впитали в себя яд, как губка—уксус. Кровь в бронхах закипала. Одна из звезд зажгла в небесах пожар, все вокруг запылало... растворились дверцы чудовищной плавильной печи, втягивавшей его в свою пасть, как ничтожную пушинку...

Да, он чувствовал, что его тянет, уносит кверху, ввысь, как-будто магнитным током. Так вот она смерть—освобождение от тела и его оболочки, от вооружения, маски и шлема, взлет ввысь от праха земного и жизни!.. Словно подхваченный гигантскою лопатою, полетит он сейчас в пламенную пасть, в геенну огненную, в мировой пожар, всепожирающий и всеочищающий, в котором камни горят, как солома.

Конец всему... да здравствует вечная смерть!

III

Спасен.

Он снова существовал.

Как натянутая струна боли, которую жизнь, невидимка-жизнь, пощипывала словно одним пальцем. Как сплошной обнаженный нерв, звенящая струна страдания, за которую хваталось сознание.

Он не мог шевельнуть ни ногой, ни рукой, но глаза и губы были открыты, выражая немой вопрос. Ничто вокруг не отвечало его представлениям о госпитале или лазарете. Он лежал не в постели, а в чем-то в роде гамака или плетенки, не в простынях, а закутанный в шерстяную и мягкую фиолетовую ткань. Помещение не имело определенных контуров. Кругом разливался мягкий лиловый свет, но не от лампы и не от очага. Он чувствовал себя словно погруженным в глубину цветочного венчика.

У его изголовья не было дощечки с черной таблицей температуры, и он тщетно искал взглядом стола, шнурка или кнопки звонка. И все-таки он, без сомнения, был окружен заботливым уходом. Он покоился свободно и легко, не ощущая тяжести своего тела, закутанный, как младенец в колыбели. Он жил, он дышал. Он ощущал спокойные дыхательные движения своих легких — они не были съедены, разрушены ядовитым газом.

Он не слыхал звука открывающейся двери, но перед ним вдруг очутился человек. Наглухо застегнутый, безбородый, в одежде, с виду походной, только без обычного обилия карманов и—как сразу заметил Эрколэ—без полосатых нашивок на левой стороне груди.

Человек безмолвно приложил палец к губам в знак молчания, затем удалил из ноздрей пациента две ватные пробки, присутствие и смысл которых тот сообразил только теперь, когда воздух двумя леденящими струями хлынул ему в нос. Новые пробки из ваты вновь отуманили его своим сладковатым наркозом; веки его разом захлопнулись, как крышки вентилятора.

Когда он снова открыл глаза, над ним стоял, улыбаясь, тот же человек.

— Ну, как? Все еще раздражает? — спросил он каким-то особенным звонким и мелодичным, как бой часов, голосом и снова переменил вату. Эрколэ Сабенэ мог ответить только взглядом и движением уголка губ.

Он долго лежал, с величайшей осторожностью втягивая в себя воздух. Его спаситель стоял перед ним, скрестив на груди руки. Одежда его была, повидимому, такого же темно-фиолетового цвета, как и все кругом. Эрколэ Сабенэ с удовольствием разглядывал его. Он стоял, слегка склонив свою красивую молодую голову на бок и устремив сердечный открытый взгляд свой искоса вверх. Лоб был как-то

странно низок, и темные волосы подымались над ним крутыми завитками, напоминая лепестки кудрявых хризантем. Лицо светилось необычайно свежей и юной, почти мальчишеской энергией. Эрколэ Сабенэ вдруг вспомнился такой же наклон головы и взгляд—слегка вбок и кверху: Александр Македонский, как его изображают бюсты древности!

— Молчите!—кивнула голова.—И лежите смирно. Я знаю, о чем вам хочется спросить. И могу ответить почти на все. Хотя вы мне вряд ли поверите. «Где вы и как сюда попали?» На это я могу ответить сразу. Мы только-что отделились от земли и шли еще всего в нескольких стах футах над нею. Прожектор нащупал как-раз то место, где вы стояли. Я видел, как вы упали, окутанный белым облаком. Наш последний якорь еще волочился по земле и случайно зацепился за вашу разбитую противогазовую маску. Вы повисли на крючке, и мы подняли вас кверху. Вы были насквозь пропитаны газом, как губка; нам стало жаль сбросить вас вниз, хотя вы и не подавали никаких признаков жизни. Пришлось часами накачивать вас кислородом, пока вы стали понемногу отходить. Но теперь мы очистили ваши легкие. Вы дышете, вы живы, вы снова пришли в себя, не так ли?

Эрколэ мигнул утвердительно, вкладывая всю свою душу во взгляд. И губы его дрогнули от массы просившихся с языка вопросов.

Спаситель его улыбнулся понимающей улыбкой.

— Да, все это успеется. Погодите! Я сам сгораю от любопытства. Мне надо итти наблюдать... До свидания!

Внезапно он исчез. Эрколэ Сабенэ не слышал звука затворяемой двери.

IV

Астрономический кинематограф.

Минуты или столетия протекли до появления следующего посетителя: широкоплечего великана, с головой Геркулеса, с бородой полумесяцем и с маленькими, но словно мечущими красные искры глазами?

Он смотрел на Эрколэ Сабенэ, как на муху, собираясь поймать ее правой рукой.

— Коротко и ясно,—заговорил он, будто щелкая на пишущей машинке, — меня прислал капитан. Я — доктор Крафт, Александр Крафт. Что вы еще хотите знать? Нам некогда.

Эрколэ Сабенэ раскрыл было рот, но великан предвосхитил его вопрос.

— Где вы находитесь? Долготы и широты для нас уже не существует. Да вы и не астроном? А мне, чорт побери, некогда читать вам популярно-научные лекции. Потерпите и сами увидите.

С этими словами великан повернулся к нему спиной. Эрколэ видел, как он нетерпеливо похлопал ручищами.

— Достаточно вы окрепли, чтобы одеться?—спросил он, снова оборачиваясь к Эрколэ.

— Да. Я думаю достаточно,—ответил Эрколэ, удивляясь легкости, с какой слова слетают у него с языка.

— Так вставайте и пойдем смотреть!—сказал великан.—Вот тут для вас пара новых брюк. А то вы ходили, выражаясь изящным слогом, по пояс в навозе.

Эрколэ Сабенэ опять остался один. И долго еще лежал, не решаясь сделать усилие, чтобы приподняться с ложа. Когда же, наконец, решился на это, то ему показалось, что тело его легче перышка... Разве он потерял весь свой вес? Только спустив с ложа ноги, он почувствовал в ступнях какую-то странную сосущую тяжесть. Сунув их в мягкие войлочные туфли, попавшиеся ему под ноги, он попытался утвердиться в стоячем положении. Голова, туловище и руки ничего больше не весили. Он поднимал руки, как пушинки. Зато ноги словно присасывались к полу. Стоило однако приподнять подошву, как вся нога становилась легкой, но отрывалась подошва от полу с некоторым трудом, как стальная пластинка от магнита.

Эрколэ Сабенэ попробовал сосредоточиться, но его мозг не работал. Машинально натянул он на себя

форменную куртку и тут вспомнил, что это у него самая лучшая: все другие изорвались. Он стоял и рассеянно смотрел на полосатые нашивки на левой стороне груди. Все цвета показались ему другими, словно полинявшими. Пальцы автоматически ощупали привычный карман и нашли там и папиросы и восковые спички. Закурив, как лунатик, он обратил внимание на то, что горящий пепел был не красного, а серебристо-серого цвета.

Кто-то выбил у него из рук папиросу и вывел его из забытья. Голова Александра оказалась рядом с ним.

— Бросьте эту глупую привычку! Если у вас есть потребность в возбуждающих средствах, то у нас найдутся получше. Идем.

Эрколэ Сабенэ почувствовал, как его потянула за собой удивительно теплая и сухая рука. И никогда еще он не двигался так легко и быстро. Ни дверей, ни стен, ни лестниц он не замечал, между тем все время переходил из одного помещения в другое. То вверх, то вниз. Помещения плыли мимо него в этом полусвете, как-будто он скользил в лабиринте кулис, постоянно менявших свою окраску.

Из фиолетового освещения он совершил долгий переход в зеленоватом сиянии, словно шел по пиниевому лесу в яркий день. Затем поднялся кверху сквозь прохладный, бархатисто-коричневый полумрак, искрившийся, как радужная оболочка карих глаз.

Подъем был без ступеней, но высокий, хотя и не трудный. Эрколэ все время ступал, как по войлоку, а ноги присасывало.

Вдруг он очутился в какой-то высокой сводчатой зале, озаренной неверным тускло-золотистым сиянием, больше всего напоминавшим лунный свет—мерцающий и обманчивый, с переливами из фосфорически-зеленого в сернисто-желтый, скользящий и тлеющий, сильный и вместе с тем мягкий, весь сотканный из неопределенных, отраженных оттенков.

Эрколэ Сабенэ стоял на своих невесомых, но будто прилипших к полу ногах и озирался, ослепленный.

Зала имела странную кеглеобразную форму. Сам он как-будто помещался в центре ее и смотрел вверх, сквозь защищенное шлифованным, толстым стеклом круглое отверстие в огромном круглом куполе.

В зале было много каких-то людей, занятых каждый своим делом—кто у рукояток или контактов, кто у стройных подставок, кто у аппаратов, а кто за конторками. Света как-раз хватало, чтобы изучать развернутые карты и делать записи в книгах и журналах. Глаза работавших неустанно перебегали от записей к застекленному отверстию купола, через которое падал свет.

Над всеми высилась могучая фигура доктора Крафта. Он стоял, обхватив обеими руками затылок, и, не отрываясь, смотрел вверх. Никто не говорил

громко, никто не проронил ни слова по поводу прихода Эрколэ Сабенэ. Только Крафт позвал:

— Avanti!—Человек с головой Александра выпустил руку Эрколэ, и тот, оставшись один, тоже вперил взор вверх, как все.

Однажды ему случилось наблюдать луну в обсерватории, в зрительную трубу, и у него осталось странное болезненное впечатление от того призрачного света, который озарял эти причудливые хребты и угасшие кратеры, похожие на омертвелые бородавки на морщинистом лике навеки погасшей планеты. Но лишь на одно мгновение Эрколэ Сабенэ показалось, что он вновь, ужасающе близко, увидел этот мертвый лик—увеличенный, словно выросший, и безобразно-сморщенный, подобно куску кожи под лупой.

Вслед затем он сразу понял, что это не холодная безжизненная личина луны. Это был лик живой и дышащей планеты, изменчивый, одухотворенный, озаренный серебряными улыбками; скользившие по нему световые пятна и тени оживляли его, то хмуро сдвигая на нем густые брови—черные хребты,—то обливая розовым румянцем большие белесые равнины, то зажигая искры на снежных шапках гор.

Он различал глазом разные краски, сгущавшиеся благодаря смене света и теней. Под мощными белыми глыбами облаков вспыхивали опаловые огни. Темно-зеленые туманности были, повидимому, лесами. Между огромными, бледными однообразными равнинами

вырисовывались твердые очертания, очевидно, морей. Свинцово-синеватые гладкие пятна были разбросаны под суровыми зубчатыми тенями, испещренными белыми точками.

И вдруг он сообразил: да это же озера Северной Италии, с очертаниями которых он был знаком до мельчайших подробностей! Взгляд его сразу обрел уверенность и стал различать на этой гигантской карте знакомые линии. Плоскости разом стали для него выпуклыми, расцветились красками, прорезались реками; там и сям проглянули жемчужины озер и какие-то странные наросты, похожие на кристаллы минералов. Это, должно быть, города!

Да, лежащий вон там, под черными хребтами, испещренными белыми точками, ближе к пятнам озер, огромный зубчатый кристалл, похожий на кусок серного цвета—это, должно быть, Милан. А там, в стороне, сливаясь с серебряным пятном моря, лежит царица лагун—Венеция. Взволнованный, он схватился за голову и отыскал на чудовищной проекционной поверхности вечный город Рим.

Дальше ему стало не под силу это причудливое светящееся видение. Он боялся ослепнуть, заглядевшись на эту чудовищную перламутровую раковину, сверкавшую тысячами переливов от бледно-розового до нежно-голубого и жемчужно-белого.

Эрколэ зажал рукой заломившие глаза, словно желая одним ударом разрушить колдовское навожде-

ние. Он, наверное, спит, наверное, грезит. Или все это—просто обман зрения. Смелый и ловкий оптический фокус. Он попал в компанию кино-съемщиков, занятых постановкой грандиозной фильмы, и, очевидно, угодил на генеральную репетицию боевого номера программы: «Вид на Землю с Марса» или с другой планеты.

Странно, однако, как тихо работают все эти режиссеры и машинисты! Не слышно ни приказаний, ни ругани, не производится никаких перемещений, никто не усиливает и не ослабляет освещения. Все участвующие стоят молча, как статисты, созерцая эту созданную ими фантасмагорию и, видимо, не находя нужным вносить в нее какие-либо изменения. Лишь изредка скрипнет контакт, или зашуршит бумага. Не слышно ни жужжания динамо, ни стука поршней, ни визга ремней, ни тиканья стрелок измерителей. Самое большее, что послышится глубокий вздох одного из этих молчаливых зрителей, онемевших при виде собственного творения. Вон человек с головой Александра, которого Крафт назвал Аванти, словно пригвожденный к одной из стен, мечтательно устремил взгляд на чарующее зрелище. Сам великан, откинувшись спиной на конторку, смотрел вверх так, что его лицо было параллельно верхнему стеклу. Все остальные тоже почти не двигались. На полу, у своих ног, Эрколэ увидел лицо монгола, на котором сверкали большие круглые очки в роговой оправе.

Когда Эрколэ Сабенэ снова обратил свой взгляд туда, куда были устремлены взоры всех, его пронизала дрожь никогда неизведанного еще экстаза.

Ему почудилось, будто он и в самом деле видит большой участок земной поверхности. В поле его зрения находилась теперь вся Европа, от Скандинавского полуострова до мерцающего, врезывающегося своим языком в сушу Средиземного моря и белой равнины Сахары за прибрежными хребтами Северной Африки. Грандиозно! Скопировано до мельчайших подробностей, ничто не забыто, приняты во внимание все эффекты. Исключительное фантастическое зрелище!

Видно было даже, как обрывалась в середине Исландии мерцающая искристая линия солнечного света. По ту сторону меридиана была полная тьма. Отдельные искры, вспыхивавшие в потустороннем ночном мраке, были, очевидно, вершинами гор, тронутыми восходящим солнцем.

Эрколэ Сабенэ никогда не приходилось видеть более мастерской фильмы. Он готов был проглядеть на нее все глаза. И так долго и упорно вглядывался в нее, что ему, наконец, показалось, будто часть земной поверхности постепенно заволакивается мраком, а солнечный свет нащупывает все новые линии и пункты. Никогда, никогда не видел он ничего подобного!

На его плечо легла чья-то рука. Голос Аванти прозвучал у него над ухом:

— Не правда ли, непостижимо? Считали вы это возможным?

Оба они не отрывали взоров от купола. И Эрколэ с искренним восхищением ответил:

— Да! Это грандиозно! Примите мои комплименты! Мне и во сне не снилось ничего подобного. Изумительно хорошо задумано и великолепно, баснословно исполнено!

«Александр» искоса скользнул по его лицу взглядом, прислушиваясь к его словам с улыбкой, как бы позолоченной тем сиянием сверху.

— Исполнено?

— Я хочу сказать, что картина произведет фурор,—поправился Эрколэ Сабенэ.—Я, по крайней мере, никогда не видывал ничего подобного. Такой номер...

Он не договорил. Аванти обеими руками обхватил его за шею, словно желая привести его в себя.

— *Номер?* Вот чудак!

— Ну да, исключительный номер, до которого никто еще не додумался,—продолжал Эрколэ Сабенэ, опуская взгляд и встречая сияющие синие глаза Аванти.—Самая грандиозная фильма, какую я когда-либо видел. Астрономический кинематограф—нечто действительно новое.

И вдруг, все закружилось перед ним. Он чуть не опрокинулся; его качало, как тростинку, на крепко приставших к полу ногах. Аванти подхватил его и вывел из помещения.

Эрколэ Сабенэ закрыл глаза.

— Свет чересчур ярок,—пролепетал он,—это утомляет зрение. Вам следует смягчить освещение.

— Да, да. Вам это еще вредно. Я думаю, вам всего полезнее будет посидеть в одиночке, чтобы прийти в себя.

Эрколэ Сабенэ дал увести себя, как ребенок.

V

В одиночке.

Эрколэ Сабенэ сидел в полном изнеможении. Впечатления были слишком сильны. Он сознавал только, что он один и что никогда еще в своей жизни не наслаждался столь абсолютной тишиной.

Тишина не нарушалась ни единым звуком. Окружающий мир словно исчез. Эрколэ как-будто находился под гигантским стеклянным колпаком, из-под которого выкачали все звуки. Ни скрипа отдаленных шагов, ни собачьего лая, ни выстрела, ни шума взрывов. Сколько времени прошло с тех пор, как он жил в аду окопов? Он прислушался к самому себе, но и внутри себя не мог уловить кипения жизни. Пульс не бился. В крови произошло короткое замыкание.

Тогда он напряг зрение и словно *увидел* бесконечную тишину, царившую в окружающем мраке. Она лилась на него мощным водопадом и низвергалась в бездонное ничто...

Тьма окутывала его подобно свивальнику мумии. Но его расширенный взор вдруг словно пронизал ее насквозь, чтобы через эту длинную, зияющую прореху во тьме вырваться на свободу, улететь за сотни миль. Там, в этой длинной прорехе, вдруг показались, закишели звезды—одна за другой, до бесконечности.

Он видел только лоскуток звездного неба, среди которого не умел ориентироваться: что знал он о звездах, кроме самых элементарных сведений? Эта прореха пересекала мир звезд, которые холодно и чуждо воззрились на Эрколэ. В них не было обычного сверкания, подобного сверканию алмазов, рассыпанных по черному бархату открытой шкатулки. Они не искрились и не мерцали, а неподвижно горели каплями застывшего пламени. Они не способны были то излучать из себя, то вновь вбирать в себя свой свет, как настоящие звезды на настоящем небе.

Эрколэ Сабенэ стал понемногу приходить в себя и вновь обретать свое обычное снисходительное превосходство. Этот шедевр искусства и техники имел таки существенные и бросавшиеся в глаза недостатки! Режиссер, изобретатель этой астрономической косморамы, не сумел заставить свои звезды мигать. Хотя задача вовсе не представлялась неразрешимой. Любой сколько-нибудь искусный машинист может заставить свое театральное звездное небо мерцать,—создать более или менее сносную иллюзию; это ничуть

не труднее, чем инсценировать плеск волн или серебристую лунную рябь на море.

У Эрколэ Сабенэ не осталось никаких сомнений в том, куда он попал. Очевидно, в крупный, очень дорого стоющий и блестяще оборудованный космотеатр, в программу которого входили астрономические сенсации. Для открытия, очевидно, будет дана грандиозная фильма с помпезным названием «Через всю вселенную» или что-нибудь в этом роде. Первая картина «Вид на Землю с Луны» была импозантна; эта вторая—значительно слабее: нельзя изображать звездное небо *без* звездного мерцания!

Вскоре он открыл еще один важный недостаток: этой вселенной недоставало вращения. Звезды не перемещались, но оставались неподвижными, как долго он ни наблюдал за ними; например, Большая Медведица, вдобавок еще расположенная вверх ногами, не говоря уже о том, что Полярная Звезда вовсе отсутствовала! Это и кое-что еще следовало исправить. Нужно бы показать и северную и южную части звездного неба, притом заставить его вращаться, чтобы на протяжении получаса или целого часа можно было наблюдать все, включая движение планет, вписывающих свои орбиты между неподвижными звездами.

Несмотря на все это, он не мог не признать, что и в этом виде картина производила своеобразное, возвышающее душу впечатление. Особенно завора-

живала, полная тишина. Тот, кто придумал посадить зрителя как бы на веранде Бесконечности, предоставив ему созерцать бездонную мировую глубь, несомненно отличался недюжинным полетом фантазии. Идея была плодотворна. Из этого безусловно можно было создать благородную и стильную сенсационную фильму. Но непременно придать ей и вращение и мерцание.

Эрколэ Сабенэ различил возле себя какую-то фигуру, силуэт, обрамленный звездами, и по голосу узнал Аванти.

— Как поживаете, земляк? Устояли вы перед этим зрелищем?

Эрколэ Сабенэ встал:

— Да, теперь-то я удержусь на ногах. Но не обижайтесь на меня, если я скажу, что ваши эффекты начинают надоедать мне — все равно, пускаете вы в ход свет или мрак. Не вернуться ли нам обратно на землю? При обычной двадцатипятисвечной лампочке я лучше сумею высказать вам свое мнение. Простите, но многое нуждается в поправках.

— Ха-ха-ха! Ну, что я говорил?—послышался из темноты низкий бас, повидимому, доктора Крафта.

— Я не знаю, что *вы* говорили,—с раздражением ответил Эрколэ.—Но *я* повторяю: пожалуйста, дайте свету. Я привык видеть того, с кем говорю.

— В «одиночку» свет не проведен. Но если вы желаете вернуться на «землю»...

— Весьма охотно. Я это как-раз и предлагаю. Мы, может быть, пройдем прямо в вашу контору?

— Ха-ха-ха!—снова загрохотал великан.

— Пусть тот, кто потешается надо мной, лучше покажется мне!—возмутился Эрколэ Сабенэ.

Ответа не было. Крафт, повидимому, исчез. Эрколэ почувствовал, что его силой усаживают на место, и звонкий, как бой часов, голос зазвучал у него над ухом:

— Я понимаю, что слишком сильные впечатления ударили вам в голову.

— Моя голова совершенно здорова.

— ... потому я и поместил вас в «одиночку». Мы всегда уединяемся здесь, когда нуждаемся в некотором охлаждении разгоряченного мозга.

— Мой головной мозг вовсе не нуждается в этом. Зато глаза очень нуждаются. Меня ослепило слишком яркое освещение вашей «Панорамы Земли», или как вы там называете ту картину. Я достаточно хладнокровен, чтобы учесть все ошибки. И вот, например, это,—он широким жестом указал на звезды,—вы, право, не можете предложить публике. Ваши звезды и чересчур крупны и вдобавок не мигают!

— Великий Озирис, не мигают! Неужели мне нужно еще объяснять вам, почему они не мигают?

— Если вы сами сознаете ошибку, то вам следует исправить ее прежде, чем показывать свои «кар-

тины» публике. Тут ведь дело не в колдовстве, насколько я знаю, а в механике.

— Да неужели вы все еще не поняли? Все еще не сообразили, *где* вы находитесь?

— Вы же не потрудились мне объяснить это. Но я не так глуп, чтобы не догадаться: вы решили использовать меня в качестве *наивного* зрителя, взятого прямо с улицы на одну из довольно неудачных, выражаясь мягко, репетиций сенсационной новинки вашего кинематографа.

— Репетиция! Кинематограф!

Эрколэ Сабенэ почувствовал, что рука Аванти ощупывает кисть его руки.

— Вам нет никакой надобности щупать мой пульс!

— Вы грезите? Или у вас разум помутился? Неужели вы в самом деле думаете, что находитесь в кинематографе?

— А где же еще?—сухо спросил Эрколэ Сабенэ, различая явное изумление на близко склонившемся к нему лице Аванти.

— Где же еще? О, наш милый «товарищ поневоле», пойманный нами в последнюю минуту! Способны вы уразуметь мои слова, или у вас все-таки произошло легкое сотрясение мозга? Разве вы потеряли способность *видеть*? Вы слышите мои слова? Вы на борту «Космополиса», на пути с Земли к планете Марс.

Эрколэ Сабенэ не нашелся сделать ничего другого, как только пролепетать по-детски:

— «Космополис»?... С земли... к планете Марс?.. Значит, не в госпитале, а в сумасшедшем доме! Света! Света!

— Здесь нет другого освещения, кроме наружного, — спокойно ответил Аванти. — Я оставлю вас одного собраться с мыслями.

— Так вот почему вы называете это «одиночкой»! Но я не желаю здесь оставаться. Я хочу выйти! Слышите! Выпустите меня немедленно! Вы не имеете никакого права запирать меня. Я хочу выйти! Помогите! Или я выпрыгну в окно.

— Прыгайте, сколько угодно!

Эрколэ Сабенэ принялся колотить кулаками по направлению к звездам, но встретил сопротивление стекла, толщиной с фут.

— Помогите! Я хочу выйти! Сию же минуту проводите меня к выходу! Дайте свет! Я хочу выйти! Помогите!

В ответ зазвенел, как бой часов, голос Аванти:

— Да полно же вам! Вас ведь не слышит здесь никто, кроме звезд.

VI

Дезертиры.

Эрколэ Сабенэ кричал и шумел в темноте, будто замотанный в клубке шерсти. Все звуки словно

поглощались войлоком. Он был и оставался один. Наконец, он смолк и затих.

Всякий раз, как он вскидывал глаза, он видел перед собой в чудовищной прорехе мириады немигающих звезд. Он не мог отвести от них глаз; они холодными искрами вжигались в его сознание. И внезапно фантазер в нем одержал верх и выставил за дверь насмешливого скептика.

— Болван! — обратился он к самому себе. — Ты сроду не вел себя глупее. Никогда еще не встречался ты с таким огромным чудом и все-таки осмеливаешься питать свои трусливые и дрянные сомнения. Разве тебе уже случалось быть, как вот сейчас, кинутым в небесное пространство, подброшенным к звездам, подобно атому?.. И вместо того, чтобы сгорать от восторга, растворяться в благоговении, ты остаешься тем же ничтожным земным дьяволенком, каким всегда был, и пытаешься поднять все это на смех. Кинематограф?.. Это кощунство! Это хула на духа. На духа Космоса, мысли которого, как звезды, наполняют вселенское пространство. Постыдился бы хоть ради старой матери своей там, за Капитолием! Или хочешь быть хуже Фомы Неверного? На самое грандиозное, что могло приключиться с человеком, ты не можешь отозваться ничем, кроме жалких острот насчет световых эффектов и кинематографической сенсации. Плюнь себе самому в лицо. И пусть звезды поразят тебя слепотою, раз ты осме-

ливаешься сомневаться в их блеске. Ты разыгрываешь идиота более высокой марки, чем это дозволяет тебе полученное тобою образование, и притворяешься, будто не понимаешь, почему звезды не могут мигать. Эти немигающие звезды только лишнее доказательство того, что ты покинул Землю, которую ты и видел там наверху, окутанную живою атмосферою. Ты в безвоздушном пространстве. Неужели ты дойдешь до такой низости, что, заглянув в вечность, посмеешь отрицать то, что сам видел?

Скептик, обитавший в Эрколэ Сабенэ, получил столько изрядных пинков, что под конец лег пластом без движения. Зато фантазер разошелся вовсю. Он купался в звездном океане, кувыркался там. Он вновь переживал, только в тысячу крат сильнее, ту дрожь внезапности, застигнутости врасплох, какую испытывал еще дома, когда, отходя ко сну, внезапно тушил все свечи, распахивал ставни и впускал к себе в комнату беспощадно суровое, леденящее звездное небо.

Но всегда трепетный и словно затуманенный блеск звезд, видимых с Земли, здесь словно застыл в каком-то странном ужасе, в немигающей торжественности. Тысячеокий Аргус, не сморгнув, пристально смотрел на Эрколэ завораживающим змеиным взглядом вечности.

На Эрколэ Сабенэ вдруг напал приступ религиозно-фантастической потребности самоуничижения. Как

верующий католик стелется во прахе перед алтарем, на котором курятся восковые свечи и горит золотом венчик на челе замкнутой в стеклянном киоте мадонны из шелку, воску и драгоценных каменьев, так его душа распростерлась сейчас перед этими мириадами немигающих огненных светил. Он склонялся перед чудом. Сама вечность незримыми руками вздымала звездную причастную чашу над его смиренно поникшей главой.

Он не знал, как долго длился экстаз, и не понимал, как это случилось, что он внезапно очутился в каком-то помещении более земного характера. Аванти привел его в кают-компанию и, только теперь спросив его имя и звание, звонко отрекомендовал его другим:

— Эрколэ Сабенэ, бывший лейтенант королевской итальянской армии, а ныне сверхштатный матрос команды небесного корабля «Космополис».

В узком, как-будто наглухо закупоренном помещении стоял блестящий белый стол без скатерти. Потолка и стен не было видно из-за декораций— высоких апельсинных деревьев, от золотистых плодов которых лился опаловый свет.

Здесь было, наконец, достаточно светло, чтобы Эрколэ мог разглядеть своих спутников. Все они были в одинаковых, наглухо застегнутых, походных куртках, без карманов и без оружия. Некоторые из них были калеки: у кого нехватало руки, кто ходил

на искусственной ноге; и у всех на лицах печать перенесенных мытарств и страданий, выражение лихорадочной нервозности, а в глазах странный огонь. Все они как-будто еще находились под впечатлением самых волнующих видений и спешили поскорее вновь вернуться к состоянию экстаза, зажегшего лихорадкой их кровь.

— Садитесь, товарищ!—сказал Аванти, указывая на место рядом с собою.—Не ждите никакой бомбы с начинкой. Мы удрали от всех земных пушек и бомб. И вы теперь такой же дезертир, как мы все.

Все уже приступили к еде. И Эрколэ Сабенэ ощущал зверский аппетит. Еда состояла из белого хлеба, рыбных консервов и плодов—винограда, фиников и апельсинов. Кианти смешивали с содовой водой из бутылок, напоминавших формою шампанские.

Аванти поднял свой стакан, приветствуя всех сотрапезников:

— За здоровье нашего нового товарища! Он у нас сверхштатный, без номера. Но мы уверены, что он будет нам помощником и братом.

Эрколэ Сабенэ благодарно поклонился. Кисловатая тосканская лоза приятно пощипывала язык; мягкая минеральная вода, которою разбавлялось вино, напоминала вкусом источник Aqua acetosa близ Рима.

— Более крепких напитков вы здесь не получите,—улыбнулся Аванти.—Ни коньяку, ни другого алкоголя. Виноград—дар Диониса и грешно превра-

щать его в ядовитое зелье. Помните, мы бежали от земных злоупотреблений дарами матери-природы. И позвольте мне прежде, чем мы встанем из-за стола, сообщить вам, что мы с вами единственные соотечественники здесь. Остальной экипаж состоит из представителей других воюющих наций. Война свела нас вместе. Мы с доктором Крафтом встретились на высоте нескольких тысяч футов, в австрийских Альпах, и долго старались сбросить один другого вниз по всем правилам искусства, пока так не изрешетили аэропланы друг друга, что оба полетели вниз с нашими горящими аппаратами. Волею судеб мы оба отделались пустяками: один сломанными пальцами, другой опаленным затылком. Всеми забытые, лежали мы в какой-то расщелине, где снег служил корпией для наших ран. Мы стали помогать друг другу и скоро столковались. Наша дуэль в воздухе бросила нас в объятия друг друга. Мы сговорились вместе дезертировать и вернуться к деятельности, преследующей более высокие цели, нежели истребление и разрушение. Сама судьба свела нас друг с другом: до войны мы оба—каждый порознь—работали над проблемами, разрешением которых явился «Космополис». За твое здоровье, мой бывший враг, а ныне брат,- австрияк, вселенский гражданин, небесный странник!

Доктор Крафт встал во весь свой гигантский рост и чокнулся, словно из пистолета выстрелил.

Сотрапезники начали подниматься из-за стола и выходить. Аванти успел назвать Эрколэ только двух последних:

— Брат Куно фон Хюльзен и брат Юху Томакура, дезертиры императорских флотов — немецкого и японского. Капитан фон Хюльзен побил рекорд в потоплении подводных судов, но в конце концов сам был потоплен капитаном Томакурой. Эти двое нашли друг друга под водой. Японец спас немца; еще полминуты, и тот бы задохся. Затем они разговорились о своих «подвигах» и, придя к заключению, что годятся для лучшего, нежели изображать акул в так называемом «свободном» океане, дезертировали ко мне. Оба стремились в другой, более просторный океан, где перископу доступны более широкие горизонты.

Эрколэ Сабенэ внимательно вгляделся в обоих, когда они, кивнув друг другу, вместе встали из-за стола. Каждый был ярко выраженным типом своей национальности. Один—худой, вытянутый, рыжевато-белокурый, с усами à la кайзер по старой памяти. Другой—маленький, приземистый, с лоснящимися черными волосами, с широким, приплюснутым носом под которым свисали полумесяцем жидкие черные усы, и с черными блестящими, как угольные бусы, глазами в роговых очках. В их лице сошлись две самые воинственные нации.

Ни один из них не взглянул на Эрколэ Сабенэ.

Встав из-за стола, оба скрылись между декорациями апельсинных деревьев, как рыбы между водорослями. Никто из сотрапезников не засиживался за столом. Одни уходили, другие приходили, и все глотали пищу с какою-то тревожною торопливостью. Некоторые исчезали, едва откусив кусочек хлеба и захватив на ходу каких-нибудь фруктов.

Аванти тоже готов был присоединиться к доктору Крафту, бас которого призывал его сверху.

— А вы сидите себе,—сказал он Эрколэ Сабенэ, рассеянно уставившемуся на кисть винограда в своей левой руке. — Мы торопимся наблюдать. Но вы-то, кажется, достаточно пока насмотрелись!

Эрколэ Сабенэ встал, ступая по полу словно затекшими ногами. Все нервы в нем болезненно замирали. Глаза застилало туманом. Отдаленный зов кольнул его слух:

— Алло, товарищ!

И вдруг сосущее ощущение в ногах прекратилось. Он очутился в горизонтальном положении, не чувствуя собственного веса и сознавая только, что снова сунут в плетеную корзину, словно в гроб, наполненный стружками.

VII

Подвальная обсерватория.

Века длился его сон. Хаос сменяющихся грез в мозгу.

То видел он себя дома, у матери, в ее вдовьем жилище, позади Капитолия. Громоздкая старинная мебель, шкафы величиною с дом, кровати—с парòм, широчайшая мраморная консоль с зеркалом, готовым как-будто поглотить весь мир. Мягкая мебель в чехлах, словно плавающая на колоссальном ковре с крупным цветочным узором. Сам он лежал в своей просторной золоченой колыбели рококо и тюлевым пологом плыл по всем комнатам, отыскивая свою ненаглядную «маммину».

То он носился по Капитолию, взбегал вверх по широким мраморным лестницам, спускался вниз в вонючие переулки, где прыгали ребятишки, мурлыкали кошки на порогах дверей, ведущих в подземные норы, сушилось на солнце и парусами вздувалось от ветра белье, словно стремясь улететь к лазурно-золотому небу Юпитера. Или вдруг лежал, в образе водяного божества, на колоссальном новом сверкающем белизною монументе, вдыхая брызги фонтана, струи которого водопадом низвергались под ним, а над ним, на мачтах, вытягивались на цыпочках пламенеющие золотом гении победы.

Потом он как-будто снова лежал в своем окопе, погружаясь в мягкие пуховики белого газа, вдыхая сладкий и смертоносный аромат гиацинтов. Да, это была смерть; смерть была ароматом, от которого замирало сердце. Держась за руку матери, поднимался он по лестнице Арацели, чтобы принести в дар «младенцу» большой букет белых гиацинтов.

Потом, лежа в своем гробу, думал о своей возлюбленной Маризе. Она как-то раз телефонировала ему в окоп, справляясь: жив ли он? И они обещали друг другу, что и тогда, когда оба будут лежать каждый в своем гробу, каждую ночь будут вызывать друг друга по телефону и вспоминать часы своего блаженства. Почему бы мертвым не пользоваться телефоном? Они гораздо больше нуждаются в нем, чем живые! И вот он, лежа в гробу, шептал губами прямо в крышку:

— Милая Мариза, это я. Слышишь? Твой милый Эрколэ. Я так одинок и здесь так страшно холодно...

Вдруг он очутился в сидячем положении, но при этом не стукнулся лбом о крышку гроба. А телефонный звонок еще продолжал звучать в его ушах. Неужели он проспал? Он взглянул на часы в браслете: половина двенадцатого; но они стояли. И при этом лиловом освещении немыслимо было определить—день или ночь теперь. Эрколэ протер глаза. Его уже начинали утомлять все эти фокус-покусы. «Космополис»...

«Небесный Корабль»... еще бы! Обман, надувательство, мошенничество, шарлатанство. Эрколэ Сабенэ, слава богу, проснулся трезвым человеком реального мира, совершенно стряхнувшим с себя всякий экстаз.

Он покинул свою плетеную колыбель совершенно нагой, как новорожденный, и готовый без страха встретить голую действительность. Однако нигде не видно кнопки звонка! Он позвал, — никто не шел. Этот полусвет был невыносим. Он сделал несколько легких, как бы присасывающихся шагов и очутился в коридоре без дверей, напоминавшем закрытый гороховый стручок, с маленькими боковыми отделениями-кельями, похожими на его собственную, озаренными таким же матовым снотворным светом. Но стручок был пуст, на койках никто не спал. Эрколэ Сабенэ напрасно звал, никто не являлся на зов. Нагой бродил он внутри стручка, пока не очутился в маленьком цилиндрическом помещении и, переступив невысокий порог, не почувствовал под ногами уже не войлок, а деревянную решетку. В ту же минуту на него автоматически полилась приятным весенним дождем тепловатая вода.

Он начал проникаться почтением перед остроумным и утонченным устройством душа. Температура регулировалась сама собою, и под конец Эрколэ обдало освежающей прохладою. Когда он повернул маленький кран, на руку ему закапала мыльная пена

с запахом медового клевера, а едва сошел с решетки, вода перестала струиться. Тут же он заметил стопку чистых, сухих лохматых полотенец. Право, на самом роскошном океанском пароходе не встретишь более утонченного комфорта!

Освеженный вернулся он в свою каюту и оделся, чувствуя здоровый аппетит. Ну, продолжение должно соответствовать началу: нельзя ли теперь очутиться за накрытым белой скатертью столом с сервированным на нем душистым кофе? Да чтобы тут же было окно, сквозь которое можно любоваться дневным светом и солнцем.

Но трудно было выбраться из этого лабиринта. А когда он, наконец, выкарабкался из своего стручка, то никак не мог ориентироваться. Все словно вымерло. Коридоры шли то вверх, то вниз. Подъем внушал ему инстинктивный страх, так как ему смутно вспоминалось жуткое впечатление от залы с куполом, ослепительным светом и сенсационной панорамой Земли. Поэтому он предпочел спускаться вниз, в надежде найти какой-нибудь выход.

Спуск вниз был тоже без ступеней, но все суживался, как галлерея в шахте, и цвет сближавшихся стен становился все ярче и ярче вплоть до цвета пылающих угольев. Эрколэ успокаивал себя, дотрагиваясь до стен рукой: не заметно было ни малейшего повышения температуры. Тем не менее, ему казалось, что он спускается в топку кочегарки, где

кипит котел, работают машины. Впрочем, он не замечал ни малейшего сотрясения, ни вращения механизма.

Наконец, он очутился в небольшом полутемном, пурпурной окраски, помещении, больше всего напоминавшем штурманскую рубку, где производятся измерения долготы и широты места. На столе развернута была огромная карта. А из середины круглого пола торчала толстая блестящая металлическая труба, похожая на окуляр зрительной трубы, направленный, в противоположность всем другим обсерваториям, вертикально *вниз*.

На верху лесенки-стремянки сидел человек и смотрел в эту трубу, как в гигантский микроскоп, словно изучая внутренность земного шара. Эрколэ Сабенэ не видно было его лица, прильнувшего к стеклу и прикрытого с боков щитом сложенных ладоней.

Голова не шевелилась. Можно было подумать, что наблюдатель уснул над микроскопом, труба которого уходила вглубь—бог весть, как глубоко.

Эрколэ Сабенэ не понравилось это помещение. Ему чудилось, что самый воздух здесь заражен лихорадкой. Но теперь не следовало больше поддаваться никаким таким ощущениям, а добираться прямо до сути этой никчемной мистификации.

Эрколэ несколько раз обошел кругом наблюдателя и демонстративно откашлялся.

— Доброе утро!—произнес он затем самым весе-

лым и ровным тоном. Безуспешно повторил свое приветствие погромче и, наконец, прямо закричал:

— Доброе утро!.. Простите, что я нарушаю ваш сон. Но тут, повидимому, нигде ни души живой! Прислуга попросту никуда не годится. Прямо неприлично для первоклассного учреждения. Доброе утро, почтеннейший!

Но только потянув наблюдателя за рукав, он заставил его выпрямиться. Это оказался доктор Крафт; он смотрел на нарушителя своего покоя одним широко открытым глазом, продолжая щурить другой, что придавало ему вид рассерженного циклопа.

— Что вы сказали?

— Я сказал: доброе утро.

— Что же вы хотели этим сказать, дружок?

— То, что я сказал: доброе утро!

— Это полнейшая бессмыслица, товарищ. У нас нет больше ни утра, ни вечера.

— Да, я уже заметил. И все это мне достаточно надоело. Я *требую*, чтобы меня выпустили отсюда.

— Выпустили? Ха!

— Да, не угодно ли вам немедленно указать мне выход! Безразлично, с парадного или заднего крыльца. Я сыт по горло вашим заведением, где не видишь ни солнца, ни луны. Мне необходимы воздух, дневной свет, понимаете? Я не привык сидеть взаперти в подвальных обсерваториях.

Циклоп изумленно зафыркал.

— Солнце, луна, дневной свет, подвальные обсерватории... Что за чепуха? Что вам нужно: солнце или луну?

— Я бы предпочел и то и другое!

— Только по очереди. Впрочем, солнце всегда к вашим услугам.

И Крафт спустился со своей стремянки, словно собираясь тотчас исполнить желание Эрколэ.

— Я даже не знаю, ночь сейчас или день. Я—как в коробке. Покажите мне выход...

— Выход?

— Да! Вы глухи, что ли? Должен же здесь быть выход, чорт побери! Будет ли всему этому конец?

— Милое дитя, вы хотите видеть выход? Конец?

— Именно! И немедленно!

Крафт сострадательно склонился к Эрколэ Сабенэ и улыбнулся прямо в лицо ему:

— Конец тут, друг мой,—сказал он, хлопнув рукой по зрительной трубе.

Эрколэ Сабенэ начал не на шутку сердиться и закричал:

— Меня совершенно не интересуют ваши дождевые черви или гусеницы, над которыми вы тут корпите!

— Конец тут, говорю я вам. Можете сами поглядеть.

— Не хочу я больше глядеть! Неужели вы не понимаете, что с меня уже достаточно!

— Да вы все еще ровно ничего не понимаете? Но вы *увидите*, товарищ, вы *должны* увидеть *конец*— выход для всех нас. Подите сюда!

VIII

Падение на Марс.

Эрколэ Сабенэ был итальянский воин и герой, но не крупного калибра. Крафт схватил его правой рукой, словно собираясь посадить к себе на левую ладонь. Но, вместо того, втащил на верхнюю ступень стремянки и насильно пригнул строптивую голову к стеклу окуляра.

Эрколэ Сабенэ сначала сопротивлялся было, но едва ресницы его коснулись стекла, бес любопытства взял в нем верх. Его взгляд с жадностью хищной птицы, камнем падающей сверху на свою добычу, упал в мистическую трубу, ища чего-нибудь поинтереснее дождевых червей или гусениц.

Да, это впрямь было падение по вертикали прямо в бездну мрака! Вначале Эрколэ ничего не видел. Линзы зрительной трубы отсвечивали и отражались на сетчатке глаза. Но затем мрак перестал метлесить, и в самом центре плавающего перед взором Эрколэ черного диска он различил мерцающее красное пятнышко—сияние, каплю крови, величиною с рубин в перстне, блестящую драгоценную каплю на чьей-то

руке, невидимой во мраке ночи. Блеск не был силен, но красный свет не был точкой, он мерцал, как небесное светило, расплывался тлеющим диском.

Эрколэ Сабенэ почувствовал укол в сердце и едва перевел дух. Это уже был не мираж, не эффект или сенсация. Перед ним вдруг словно ожил сам Космос. Созерцание звездных мириад не произвело такого воздействия, как созерцание этого маленького кровавого ядрышка в гигантской оболочке мрака. Что велико и что мало? Его зрительная труба была микроскопом. Он поймал в поле зрения самое бездонную тьму и в сердцевине этого препарированного мрака увидел маленькое живое небесное тельце, трепещущее подобно кровяному шарику в жизнетворном потоке, струящемся из гигантского сердца Космоса. Это небесное тельце поднималось ему навстречу со дна непостижимого, загадочного пространства. При помощи этой трубы, этих шлифованных стекол, с глазу на глаз с одиноким небесным тельцем, он приобщился к тайнам движения вселенной в тысячу раз более захватывающим, интимным образом, чем, если бы в ослеплении ринулся в самую гущу светил, пляшущих в млечной туманности. Смотри же, смотри на это маленькое тельце там, внизу, смотри, как оно живет, мерцает, этот красный фонарик далекого парусника, плавающего по вечному океану вселенной!..

Зрелище было столь увлекательно, что Эрколэ не мог от него оторваться. Всем умом, всем своим зре-

нием и чувством хотелось ему уйти, погрузиться в это зрелище, проникнуть в это маленькое красное ядрышко, света которого оказалось достаточно, чтобы наполнить и окрасить все его сознание живой красной кровью веры. Лишь на этой точке, в этом созерцании ощущал он себя в статическом равновесии, понимал сосущее ощущение в подошвах ног и чувствовал самое падение, как блаженное головокружение, мощное влечение, пронизывающее его всего насквозь, до мозга костей.

Крафту пришлось силой оторвать его голову от окуляра.

— Поняли, наконец, товарищ?—тихо спросил он.

Эрколэ Сабенэ глубоко перевел дух и с закрытыми глазами покачал головой.

— Только не мозгом. Но я прямо задыхаюсь; право, как-будто вся кровь моя стремится туда, вниз. Вниз! Скажите же мне, ради создателя, как можно направить зрительную трубу не вверх, в небесное пространство, а вниз, в какую-то глубь? Не можем же мы, сидя на Земле, видеть звезды у себя под ногами!

— Да мы уже оторвались от Земли, товарищ.

— Но, если бы даже мы были на воздушном корабле, мы не могли бы видеть звезды *под* своей гондолой. По закону тяготения Земля всегда должна находиться у нас прямо под ногами, не так ли?

— Тогда нам никогда не удалось бы оторваться от Земли,—улыбнулся Крафт.

— У меня голова идет кругом,—сказал Эрколэ.— Простите, если я был немного груб несколько минут тому назад. Но я не люблю, чтобы надо мной потешались. Вы говорите, что мы уже оторвались от Земли. Но где же мы тогда? Чтобы выйти за пределы неба, земной атмосферы, нужно, так сказать, перевернуть силу тяжести вверх ногами, падать с Земли.

— Так оно и есть. Оторваться от Земли—значит падать с нее.

— Куда же мы падаем?

— Как-раз туда, куда тянет нас вес нашего тела. На маленькое, красное пятнышко, виденное вами в эту зрительную трубу. Оно стоит на той же вертикали падения, как вы и я. Сообщи я вам скорость нашего падения, у вас мозг застыл бы в костях. Но вы даже не замечаете, что падаете, не правда ли? Мы сидим себе тут и преспокойно, незаметно падаем, падаем. Если вы сомневаетесь, взгляните еще раз на красное пятнышко под вашими ногами. Не могу вам точно определить, через сколько именно дней его объем увеличится вдвое. Бессмысленно толковать о днях, когда мы оторвались от Земли и ее времеисчисления. Мы больше не знаем ни дней, ни ночей. Солнце не восходит и не заходит для нас. Звезды не вращаются. Мы оторвались от Земли и всех земных понятий.

Эрколэ Сабенэ поежился, словно озябнув.

— А *это* там... внизу?..—спросил он, указывая на зрительную трубу.

— Это тысячи лет известная и наблюдаемая с Земли планета, которой римляне дали имя бога войны. Мы столько натерпелись от его неистовства у себя на Земле, что, дезертировав оттуда, почувствовали потребность посетить эту красную звезду, убедиться— не крови ли и пожарам обязана она своим светом?.. Одним словом,—заключил Крафт,—если вам нужен конец и выход отсюда, то он именно *там* и нигде больше. Там мы остановимся. Это так же верно, как то, что падающее яблоко останавливается в траве, где-нибудь у подножия дерева.

Эрколэ Сабенэ схватился за голову.

— Но это же безумие, сущая бессмыслица! Я никогда не поверю, чтобы кучка военных дезертиров могла разрешить неразрешимую проблему. Преодолеть силу тяготения, оторваться от Земли, улететь в безвоздушное пространство...

— Да мы вовсе не летим,—нетерпеливо перебил Крафт.—Я же сказал вам, что мы *падаем*. Другого способа разрешить проблему не было. Разве наши летательные аппараты годятся для межзвездного полета за пределами земной атмосферы? Представьте себе аэроплан на пути между планетами. Куда он полетит при перемещении силы тяжести? Куда упадет, в случае несчастья, поломки мотора? Нет, остается одна единственная возможность—самому заранее

наметить путь своего падения и падать! Лишь падение имеет свой непреложный закон. Никакие полеты в мировом пространстве немыслимы, за исключением верного, определенного законом притяжения падения. Всякое движение здесь—есть падение. Мы падаем,—значит, мы движемся.

Эрколэ Сабенэ слушал, широко раскрыв глаза. Слова порождали интуицию.

Крафт предоставил его самому себе.

IX

Радиоспектр.

Эрколэ Сабенэ так и застыл на своей наблюдательной стремянке, то поглядывая в окуляр, то оглядывая окружающее его пурпурно-красное помещение.

Крафт вывел его из раздумья, обняв рукою за плечи, как учитель непонятливого ученика.

Высокомерный насмешник давно уже уполз в свою мышиную норку. Наивная душа сидела и ломала себе голову над трудной задачей.

— Но каким образом?..—прошептал он.—Объясните мне, как?

— Время слишком дорого, — ответил Крафт. — Каждое мгновение—целый мир впечатлений и переживаний, которых не изведал еще ни один разум в мире. Чтобы объяснить вам все, нужно, чтобы вы

прошли весь путь развития, проделали опыты многих лет, которые мы ставили, прежде чем нашли решение. Сколько миллионов людей ходят по земле и пользуются чудеснейшими изобретениями с такой беспечностью, словно это самые естественные вещи в мире. Приходило ли вам когда-нибудь в голову, какую игру дивных сил природы кудесники-изобретатели дали в руки невежественной, наивной толпе? Она телефонирует, не имея ни малейшего представления о самой сущности явления; она пользуется радиотелеграфом, ничего не смысля в нем. В большинстве своем человечество представляет глупых и беспечных ребят, пользующихся открытиями божественного разума, даже не подозревая, какими чудесами играют! Если бы им поставили условием *уразуметь* самые принципы и процессы прежде, чем допустить их до пользования такими открытиями и изобретениями, они никогда бы не удостоились этого. Из сотни ездящих в электрическом трамвае, пожалуй, ни один не в состоянии понять, не то что объяснить его механизм. И ни один смертный не может сказать, что такое в сущности электричество. И наше настоящее падение на Марс в такой же степени объяснимо или необъяснимо.

— Но вы-то в состоянии объяснить, как вы нашли путь к разрешению проблемы? Я охотно сознаюсь, что я глупый, беспечный мальчишка, недостойный понять всю суть. Но дайте мне хоть намек

на объяснение, хоть на вершок приподымите завесу!

Крафт улыбнулся, а его маленькие, мечущие красные искры умные глазки приняли добродушнейшее выражение, когда он весело произнес:

— Взгляните, товарищ, на свою собственную грудь; вот вам и объяснение.

— Что, собственно, вы подразумеваете?

— То, что вы расхаживаете с собственным спектральным анализом на груди!

— Вы намекаете на мои знаки отличия,—сказал Эрколэ Сабенэ, краснея.—Осмелюсь просить вас не насмехаться над этим. Каждая нашивка стоила мне, если не крови, то известной дозы мужества, упорного труда и тяжелых лишений. Это в самом деле своего рода анализ.

— А разве необходимо выставлять его напоказ?

— Да, я честолюбивый солдат и с гордостью ношу цвета своей родины. Не забудьте, что я отпрыск старейшего и храбрейшего народа. Я—римлянин. А какая другая страна в наше время пережила более яркое возрождение? Мы не только объединились, мы стремимся отвоевать себе право господства над миром, которое принадлежит нам в силу тысячелетней давности.

Крафт вытянулся во фронт.

— Перестаньте иронизировать,—сказал Эрколэ Сабенэ.—Не забудьте, что я итальянец.

— А я австрияк, подданный самого христианнейшего государства. Жаль, что вы не остались в вашем окопе. Для вас хватило бы еще задач на земле, и вы пока не нуждаетесь в небесных.

— Зато я нуждаюсь хотя бы в самом маленьком объяснении того, как и почему мы падаем на Марс!

— Взгляните на ваш собственный грудной спектр. Всякое небесное тело, как вам известно, обладает подобным спектром. Спектральный анализ! Это, так сказать, особый способ сигнализации каждого отдельного небесного тела. Мы с помощью радия получаем совершенно особый вид звездных спектров, более сильных и ярких, чем прежде; они точнейшим образом осведомляют нас об элементах каждого тела, о его весе, величине, плотности и космической силе. Вот такой радиоспектр Марса и является для нас одновременно двигательным и управляющим аппаратом. Он действует подобно присасывающему диску, излучающему ток по направлению к планете, к которой мы стремимся. Посредством усиления этого тока мы преодолели силу земного притяжения... Чтобы оторваться от земли, нужно только обладать скоростью 11½ километров в секунду. А мы можем с помощью тока, образовавшегося между Марсом и его радиоспектром—тут под нашими ногами—добиться гораздо большей скорости. Мы беспрерывно и беспрепятственно падаем сквозь эфир и мировое пространство, словно влекомые невидимою нитью через всю все-

ленную. С нашим радиоспектром и его током мы можем спуститься только на ту планету, к которой обращены наши ноги... Поняли вы что-нибудь из этого объяснения?

— Должен признаться, весьма мало.

— А вы больше понимаете, когда физик объясняет вам радиотелеграфию? Люди обыкновенного умственного склада в состоянии усваивать только чисто внешнюю, осязательную причинную связь. И никто ведь не понимает, какие «силы» управляют нашими хрупкими и остроумными аппаратами. Мы как бы оседлали невидимых коней. Мы называем их силами, но не имеем в сущности ни малейшего представления о том, что такое собственно «сила». Вскройте машину с ее сотнями колес, поршней, винтов и прочих частей механизма, самая *сила* останется неуловимой; она невидимкой одухотворяет лабиринт мертвых машинных частей и исчезает при малейшей порче в механизме.

Любознательность Эрколэ Сабенэ не получила полного удовлетворения. Он слушал с благоговением, но внутренний скептик дразнил его языком. Все эти изобретатели, физики и химики не являлись ли в конце концов чем-то в роде гениальных фокусников, уверяющих, что все—лишь ловкость рук, тогда как на деле тут несомненное колдовство? Они даже непостижимую природу подчинили себе и заставили проделывать фокусы!

— К сожалению, я знаю так мало,—сказал Эрколэ,—что совершенно не могу проверить то, что вы мне рассказываете. Вы с таким же успехом могли бы уверить меня и в том, что Луна или Марс сделаны из зеленого сыра. Вы говорите о радиоспектре, о котором я даже никогда ничего не слышал; да и вообще, в радии и в спектральном анализе я смыслю не больше, чем эти нашивки на моей груди. Но раз вы упоминаете о машинах, то будьте любезны, позвольте мне заглянуть хоть одним глазком в механизм вашего корабля: в колесах, поршнях и в динамике всегда есть нечто непосредственно убедительное.

— Наш механизм принесет вам одно разочарование,—сказал Крафт улыбаясь и вставая.—Разве вы не обратили внимания, что пол под нами не дрожит? Не слышно ни скрипа, ни треска. Здесь тихо, как во чреве мрака. Руль вы уже видели: он управляется сам собою; вы можете убедиться, что красное пятнышко, видимое в трубу, ни на иоту не изменяет своего положения в центре окуляра. Чего же вам еще?

— Покажите мне двигательную силу, доктор Крафт, двигательную силу!

— Как я уже сказал вам, двигательная сила высшего порядка всегда невидима. Шумят только земные духи, машины низшего разбора. Ту силу, которую мы называем «*током*», можно направить куда угодно. Звездное колесо вселенной не скрипит. Наш

новый центр притяжения и является той двигательной силой, о которой вы спрашиваете. Теперь уже не Земля, а Марс притягивает вас. В ваших жилах поет облегченная весомость. Вы весите теперь втрое меньше, чем на Земле. «Космополис» имеет шарообразную форму. Все помещения в нем могут вращаться во все стороны вокруг центра. Когда наша вертикальная линия перемещалась от Земли к Марсу, это был для нас очень странный переход. Невидимая рука перевертывала нас, и мы чувствовали какое-то странное щекотание и вытяжение в суставах: не то, как при ревматизме, не то, как при сильном росте в детстве.

Эрколэ Сабенэ вздохнул и произнес безнадежно:

— Откровенно говоря, у меня голова кругом идет. Покажите мне хоть этот спектр прежде, чем я окончательно сойду с ума!

— Боюсь, вам не перенести этого зрелища. Требуются очень крепкие глаза. Не лучше ли вам раньше поправиться, окрепнуть хорошенько?

— Я не могу поправиться, пока не увижу всего.

— Ну, хорошо, тогда ложитесь плашмя вот здесь, на полу, где идет поперечная черта—пояс.

— Разве *это* и есть спектр Марса?—спросил Эрколэ Сабенэ, растягиваясь во всю длину на полу.

— Погодите! Не испугайтесь, когда я погашу всякий свет. И наденьте сначала вот это.

— Черные очки? Но я ничего не увижу в них!

— Наденьте их и закройте глаза, пока я не скажу: глядите.

Стало темно, как в могиле: Эрколэ Сабенэ закрыл глаза и, весь дрожа от напряженного ожидания, даже прижал к очкам обе ладони.

— Глядите!—раздался голос Крафта.

Эрколэ Сабенэ глянул.

Словно кто сдвинул крышку с иллюминованного изнутри часового стекла. Эрколэ лежал как бы на краю светящейся бездны и глядел вниз, в волшебное сияние полос спектра. Он как бы парил над сияющим провалом во мраке. Огненные цветные полосы чередовались, переходя из одного оттенка в другой, образуя трепещущую, знойную скалу; радужный мост из пламенеющего пурпура, текучей серной желтизны, расплавленной лазури, режущей глаз ярь-зелени; радугу из радуг; ослепительное великолепие; безумие красок!.. Полоса за полосою по очереди ранили и язвили его глаза; никогда еще его сетчатка не отражала подобного фантастического, безумного бреда в красках!..

На этот раз Эрколэ Сабенэ онемел. Исконные враги в его бедной измученной душе бросились друг другу на шею, объединенные в сознании своего бессилия и ничтожества. Сам он весь ушел в зрение, превратился в пару болезненно расширенных глаз, жадно впитывавших в себя сквозь темные очки эти световые и красочные видения, которых не вынес бы

его незащищенный глаз, но которые наполняли расплавленным солнцем все темные уголки его существа.

И вдруг он ослеп. Радужный мост под ним исчез. Он поплыл, лежа на вершине скалы, над бездною вселенной, уткнувшись головой в холодный непроницаемый пол. Вход в волшебную пещеру вечности захлопнулся!

X

Солнечная камера и камера Земли.

Кончилось тем, что Эрколэ Сабенэ поверил тому, что видел. Не всегда оправдывается тезис, что «вера есть твердая уверенность в невидимом». По временам бывает очень трудно заставить людей поверить и тому, что они видят. Эрколэ долго не верил собственным глазам. Но пламенный радиоспектр выжег из него скептицизм.

Он был еще далек от уразумения всего устройства того небольшого «небесного тела», в котором был заключен. Но уже не оспаривал самого факта: да, он действительно находится на борту своего рода «Небесного корабля» и мчится по вселенной, «падая на *красную* планету», как выразился Крафт. Довольно понятно, если принять во внимание, что весь экипаж состоял из более или менее «красных», объединившихся здесь на платформе общего недовольства

условиями существования на Земле, которую и покинули. Каждый из них в отдельности «устал от войны» и, повернув спину своей *земной* родине, пустился на поиски *небесного коммунизма.*

Во время своего земного существования Эрколэ Сабенэ был фанатическим ирредентистом и патриотом, так что сумел бы найти приложение своим силам пока, наконец, его возлюбленная Италия не стала бы снова мировой империей, о чем мечтают все правоверные итальянцы. Тем не менее, он отдавал должное тому «высокому» курсу, который наметили себе его новые товарищи. И начинал обживаться на этом «Небесном корабле», который выловил его из наполненного газами окопа и спас от верной смерти.

Часто, по невежеству своему, он задавал такие вопросы, на которые мудрая команда корабля не всегда могла дать ему ответы. В общем, спутники его и наполовину не удовлетворяли его любознательности: каждый из них был специалистом в своей области и делал свое дело, не заботясь о широких обобщениях.

И Эрколэ Сабенэ бродил на свой страх вверх и вниз, по всем помещениям, начиная спектральной щелью на самом дне и кончая верхней залой с куполом и видом исчезающей панорамы Земли.

Многочисленные помещения сходились лучами в центре шара. Все имели выпуклые наружные стены из толстого стекла, которые, подобно нежным кры-

лышкам жука, могли быть прикрыты наружными металлическими щитками. Весь корабль таким образом представлял собою шарообразное тело, мчавшееся, подобно метеору, в мировом пространстве по прямой линии к своей цели—Марсу, оставляя за своей кормой Землю, торопливо вращавшуюся вокруг своей оси и описывавшую орбиту вокруг солнца.

Но во многих отношениях Эрколэ Сабенэ был недоволен новым образом существования. Между прочим, смущало его отсутствие смены дня и ночи. Что значило здесь понятие: *час*? Какой смысл был теперь в одной двадцать четвертой доле суток, когда не было больше самых суток, как не было ни восхода, ни захода солнца?

Солнце не восходило и не заходило. Эрколэ мог наблюдать его в любое время. Для этого на корабле имелась особая обсервационная или вернее «операционная» камера, вращавшаяся соответственно движению Марса по своей орбите.

Под эту камеру был отрезан большой сектор шара. Эрколэ Сабенэ побывал там однажды и поклялся самому себе никогда больше не заглядывать туда. Это был сущий солнечный ад, вечно залитый палящим солнцем, которое никогда не закатывалось.

Необходимо было надевать особые очки, чтобы выдерживать пребывание там. Солнце производило здесь совсем иное действие, чем на Земле. Тут не было серебристо-голубого фона небес. Раскаленный

солнечный лик не смягчался скользящею дымкой облаков. Оно постоянно пылало раскаленным до-бела огненным щитом на черном поле. И, как огненное мельничное колесо, неустанно мололо палящий, удушливый солнечный жар, наполняя им камеру. Эрколэ Сабенэ невольно припомнился библейский горящий терновник, в котором Иегова явился Моисею. Несмотря на предохранительную маску, солнечный жар так палил лицо, что Эрколэ поспешил убраться из этой «пещи огненной», от этого солнечного перпетуум-мобиле.

Потом Эрколэ узнал, что солнечная камера в буквальном смысле является «топкой» Небесного корабля. Здесь была осуществлена идея использования солнечной энергии, неосуществимая на вращающейся Земле. Здесь солнце светило постоянно, являлось непотухающим костром, который, путем сложной и остроумной системы труб и проводов, снабжал «Космополис» не только светом и необходимым в леденяще-холодном эфире теплом, но и двигательною силой. Солнечные моторы вырабатывали для всего корабля запас атмосферы, воздуха, дестиллировали в особом чане всю грязную воду и пускали ее очищенною, прозрачною, как ключевая, вновь в резервуары. Словом, солнце было, так сказать, живым горячим сердцем «Космополиса», обусловливавшим кровообращение внутреннего организма всего этого мирка.

Солнечные моторы были в движении и «день и ночь», выражаясь неуместным здесь земным языком. Но «солнечным кочегарам», несшим работу в Солнечной камере, приходилось не только надевать маски, а и защищать красною сетчатой фуфайкой свое обнаженное туловище, чтобы предохранить кожу от солнечной экземы. Первоначальное требование капитана Аванти, чтобы все по очереди несли службу в Солнечной камере, оказалось невыполнимым. Некоторые совершенно не могли выносить непрерывное, жгучее действие солнечных лучей и заболевали, так что под конец эту работу несли одни и те же наиболее выносливые, испытанные кочегары.

В остальном принципы равенства, братства и свободы на «Космополисе» не нарушались. Каждый по очереди выполнял свою долю общей работы, все поочередно принимали участие в общих трапезах, и каждый по собственному усмотрению мог располагать своим свободным временем: мечтать, спать или читать.

Эрколэ Сабенэ тоже нес работу, на какую был способен. И он, подобно всем прочим, понемногу подпадал под власть привычки. Странное существование регулировалось и распределялось согласно долгу и заслугам. Учитывая будущее, исчисление времени вели по Марсу, где дни были на 37 минут длиннее, чем на Земле, но пока за ними можно было следить лишь по часам.

Большая часть свободного времени уходила у Эрколэ, как и у других товарищей, на созерцание Земли, которую «Космополис», так сказать, день ото дня оставлял все дальше и дальше позади. В течение нескольких небесных вахт можно было обозреть всю ее круглую поверхность. И так странно было созерцать медленное постепенное выплывание из мрака всех частей света и океанов. Солнце освещало поочередно их все, не забывая ни единого уголка земного глобуса. Белою вуалью плыли облака над серебристо-голубыми перламутровыми переливами красок. Самый диск Земли все суживался по мере удаления от него «Космополиса», а земная панорама все съеживалась, пока, наконец, Земля не повисла в эфире огромною луною, излучавшею мягкий, тихий, но достаточно сильный свет, при котором можно было даже читать.

Эрколэ Сабенэ нравилось сидеть в камере Земли и, откинувшись на спинку плетеного кресла, уноситься в мечтах на родную планету.

Он никогда не был особенным охотником до чтения. Главным образом интересовали его газеты. Но здесь газет не получали. А книги, даже самые увлекательные, казались здесь такими же мертвыми и устаревшими, как старые газеты. Всякий земной роман казался чем-то таким далеким и неправдоподобным, лишенным всякого интереса,—паутиной, сотканной человеческим мозгом из покинутой атмосферы.

Даже история и биографии, всегда больше интересовавшие Эрколэ, чем плоды фантазии, потому что диктовались самою жизнью, и те становились на борту «Космополиса» тенями, привидениями с того света,—с призрачной планеты там, наверху. Больше всего, пожалуй, подходили бы сейчас для него произведения лирические, стихи, которые давали бы исход странному певучему ощущению в его крови и наполняли бы музыкой тишину эфира.

Когда Эрколэ Сабенэ усаживался мечтать в камере Земли, это кончалось обычно тем, что в нем просыпалась жгучая тоска по родине, сердце его как-будто исходило кровью, и этот кровавый след тянулся к покинутой планете, привязывая к ней Эрколэ. Земля, Земля! Как он любил все на этой планете, с ее прекрасным кротким светом и дивным перламутровым отблеском, подернутым тонкою мерцающею дымкой атмосферы.

Он впадал в элегическое настроение, разглядывая слабые контуры далекой родины, словно серебряные инкрустации на золотом диске. Трепетные нити мыслей устремлялись к точке, где, по его предположению, находился возлюбленный его Рим. Как все еще дорога была его сердцу дивная Земля! Он вспоминал озеро Неми, это затуманенное ручное зеркало Дианы, в рамке виноградников. Вспоминал прекрасные римские виллы, окруженные пиниями, которые мечтательно устремляли в голубое атласное небо свои зелено-

филигранные игольчатые кроны. Видел перед собой райские уголки прохладных внутренних двориков с колоннадами и журчащими фонтанами. В каждой нише притаились фигуры—или греческая нимфа, или римский импера́тор—и словно манили к себе воздетыми руками, по которым скользили блики света, пробиваясь сквозь трепетную листву зыбких пальм, вздымающихся из высокой зеленой травы, где благоухали фиалки и анемоны. Он вспоминал рай праздношатающихся—Монте-Пинчио, где парадировали все римские красавицы, покоясь в каретах, обитых внутри выстеганным шелком и запряженных кровными конями, или прогуливаясь пешком в легких весенних туалетах и грациозно покачиваясь на фантастически выгнутых каблучках.

Эрколэ Сабенэ вспоминал счастливые часы, когда он сам расхаживал там, как некий юный полубог, в своем голубом плаще, перекинутом через левое плечо, наподобие римской тоги, и в сверкающем шлеме с золотым гребнем. Как ни захватывающе увлекателен этот полет в мировом пространстве, как ни богат фантастическими впечатлениями и как ни оригинальна вся обстановка «Космополиса», похожего на летающий отель будущего, здесь все-таки сильно недоставало развлечений, необходимых человеку. Одно мужское общество, — как тут не заскучать! Капитан Аванти, к сожалению, ничего не смыслил в том единственном и незаменимом, что радует и дарит счастье

на протяжении всей жизни. Небольшой thé dansant мог бы произвести чудеса. Увы! Здесь не было ни чаю, ни женщин! На что годна самая свободная республика в мире без женщин? И кто поручится, что там, на красной планете, найдется женский стимулирующий элемент? Амазонки, единственный противник, с которым приятно бороться!

Эрколэ вздохнул и схватился за сердце. Оно сжималось, причиняя ему настоящую боль, словно пустой желудок. Ах, будь у него с собою хоть та пачка раздушенных писем, значительно выросшая за долгие годы войны! Или коллекция фотографий, которыми он украшал стены своих землянок. Он порылся в карманах, но не нашел там ничего—ни карточек, ни увядших цветов, ни ленточек,—только крошки табаку, от которых и не пахло никакой любовной сказкой. Эрколэ Сабенэ вдруг вспомнил что-то и схватился за пояс... Где же его кобура? Ее нет! А перед взором его, как живая, стояла обворожительная дикая кошечка Мариза. Играя кобурой, она потихоньку вынула оттуда револьвер и сунула на его место свою крохотную туфельку с высоким острым каблучком вместо рукоятки. На другой день он, хватясь револьвера, рассердился, но у него не хватило духу выбросить башмачок, до такой степени он отражал личность Маризы. Эта изящная, выгнутая розовая туфелька из тонкой замши, словно из лоскутка ее собственной нежной кожи, сдернутой с теплой ножки, была восхи-

тительна, как и ее обладательница. Ножкам Маризы могли бы позавидовать сами Грации Кановы.

Эрколэ, сидя в окопах, нередко вынимал эту реликвию и целовал ее, снося насмешки цинической половины своей души, злорадно шептавшей: «Дуралей! Лучше бы она догадалась насыпать в твою кобуру надушенного табаку!»

Да, кабы здесь табачку! На «Космополисе» не было ни табаку, ни женщин. Курить запрещалось. И, право, можно было подумать, что весь экипаж состоит из бесполых существ. Никто даже не упоминал о женщинах. Лишь капитан Аванти и Крафт, случалось, обменивались словом, напоминавшим о вечно женственном, упоминали имя какой-то «Короны». Насколько Эрколэ мог понять, речь шла о сестре Аванти, оставшейся там, на Земле. «Как поживает Корона? Вспоминает ли нас в эту минуту?» спрашивал великан с забавно мечтательным выражением маленьких свирепых глазок. И Аванти неизменно утешал: «Она не забудет. Она следит за нами ежечасно, и днем и ночью. Будь верен до гроба, Александр, и ты завоюешь свою Корону!»

Никто из других никогда не упоминал о женщинах. Японец его этим не удивлял. Эрколэ слышал, что эта раса никогда не берет на войну женщин ни в качестве сестер милосердия, ни для других услуг. Японец знает, что женщина действует на мужчину расслабляюще и мешает ему в достижении поставлен-

ных им себе военных целей. Женщины во все вносят эротический элемент и половой эгоизм. И только парализуют мужскую отвагу. Еще ни один истый воин не стал героем по милости женщин! Только западное рыцарство создало романтический культ женщины. Сыны же Востока — мужчины до мозга костей и, отправляясь на войну, дорожат каждою каплей мозга.

Но в пруссаке Эрколэ ожидал найти каплю рыцарской крови юнкеров, вспыхивающей в честь дамы сердца. Однако Куно фон Хюльзен не цитировал ни Гете, ни Гейне. Он не разбирал с видом знатока женщин по статьям, как лошадей. Подобно всем остальным, он был весь захвачен лихорадкою чудесного полета и, когда смотрел на покинутую Землю, ни единый вздох не выдавал его привязанности к исчезающей планете, откуда он не взял себе на память никакого амулета в виде крохотного бантика или локона волос. Эрколэ Сабенэ, разглядывая его выпяченную грудь и мясистые губы, спрашивал себя с некоторой брезгливостью: не культивировал ли он ту особую эротику, которая, по слухам, столь же процветала в современной германской столице, как в древнем императорском Риме?

Эрколэ Сабенэ ощущал непреодолимую потребность побеседовать на темы, которые служили пряною приправою к его существованию даже на фронте. Но здесь этой потребности невозможно было утолить.

Не представлялось ни малейшего случая или повода завязать пикантную беседу. Мужчины не выходили из сурового делового тона и никогда даже не намекали ни на земную, ни на небесную любовь.

Он снова невольно взялся за свой форменный пояс. Куда же однако девалась кобура? Когда он, в сущности, успел потерять ее?.. И, встретившись после того в кают-компании с фон Хюльзеном, спросил его:

— Не знаете ли вы, куда девалась моя кобура?

— Я взял ее на хранение, — ответил пруссак.

— По какой причине?—спросил Эрколэ Сабенэ.

— Здесь не разрешается носить оружие.

— Но в моей кобуре нет оружия!

— Тогда вы можете носить ее сколько угодно, — ответил фон Хюльзен и вышел на минуту. — Пожалуйста! Вот ваша кобура, товарищ. Теперь и я замечаю, что она чересчур легка.

Эрколэ прикрепил кобуру к поясу.

— Итальянский друг наш не должен носить оружия,—раздался голос вошедшего Аванти.

— Это не револьвер.

— А что же?

На Эрколэ Сабенэ нашел припадок мальчишеского озорства. Он вынул из кобуры смятый башмачок и поставил прямо на стол.

— Дамское оружие! — сказал он таким тоном, словно произносил неприличное слово.

Но это не произвело впечатления. Аванти на минуту взял башмачок в руки и равнодушно посмотрел на него. Затем, отбросив, сказал:

— И вам не стыдно? Это все, что вы захватили с собой из старого мира? Что сказали бы ваши противники, если бы подобрали ваш труп с подобным оружием в кобуре?.. Стыдно! скажу я, как ваш соотечественник.

XI

Готовая книга.

Эрколэ Сабенэ чувствовал себя одиноким. Ему не с кем было поделиться своей эротически-земной тоской. В этих отдавшихся идее и делу мужчинах не было ни искры чувственности. Напряжение, вызываемое этим чудесным полетом, парализовало в них все другие ощущения. Они были очарованы самым движением, словно большие мальчики всепоглощающей игрою, которой отдавались с благоговейною сосредоточенностью, дрожа от нетерпения и от страха, как бы какое-нибудь постороннее чувство не помешало их священнодействию.

Эрколэ один испытывал тоску о покинутой планете. Утомленный долгим и пристальным созерцанием диковинного глобуса исчезающей вдали Земли, около которой кружила в виде золотой раковины

Луна, он закрывал глаза, и мозг его погружался в кошмарную дремоту, полную хаотических видений: земных ландшафтов и людских образов. Женщины дразнили его воображение, возбуждали желание, мучили его, искушали, словно святого Антония в пустыне. Его земная натура оставалась верною себе: живою, здоровою, не поддаваясь чарам никаких космических зрелищ.

Когда однако в нем брала перевес верующая половина души, он отправлялся на звездную террасу, где в глаза ему глядела вселенская тьма своими бесчисленными, никогда не мигающими огненными очами.

Он расплывался в ничто перед этими немигающими очами. Все вокруг было неподвижно. Лишь та или другая одинокая планета ползла между крупными яркими звездами, как улитка, по орбите, начертанной таинственным грифелем на черной небесной доске.

Так тихо,. беззвучно ползли вокруг солнца, источника жизни, Марс и Земля, создавая оптический обман, будто их орбиты пересекают орбиты неподвижных звезд. Эти планеты кружились в собственных крохотных, узких манежах, в центре которых находилось гонявшее их на корде своим пламенным бичом солнце. Звезды в своей дали, измеряемой световыми годами, оставались лишь вечными, посторонними и равнодушными зрителями этого вращения мелких темных спутников какого-то средней руки солнца!

Звездная терраса особенно привлекала Эрколэ Сабенэ еще потому, что здесь он чаще всего бывал наедине с человеком, который интересовал его больше, чем остальные здесь. Не потому лишь, что был его соотечественником, но главным образом потому, что в нем было какое-то своеобразное очарование.

Эрколэ чисто физически ощущал приближение Аванти, который как-будто излучал из себя особую таинственную силу и распространял вокруг себя бодрящий, освежающий аромат, в роде аромата хвойного леса, согретого солнцем.

Вот и сейчас Эрколэ, сидя на звездной террасе, вдруг почувствовал этот озонирующий аромат.

— Заметили вы, как быстро перемещается Меркурий?—спросил звонкий голос Аванти. — Спешит, словно посланный с вестью Юпитером!

— Чтобы отрекомендовать нас Марсу или Венере?—спросил Эрколэ. — И пригласить нас на пир богов?

— Нет, никакого сборища богов не предстоит. Каждая планета идет своим путем.

— Как мы своим. Извините, капитан Аванти, но я все еще не понял ни иоты из всего этого бреда. Я не понимаю, как это мы сидим здесь, в этом мыльном пузыре, и несемся в небесном пространстве. Как могли мы оторваться от земли? Не есть ли все это предсмертный бред? Оторваться от земли—значит ведь умереть, не так ли? «Космополис» — корабль

смерти с одними мертвецами на борту. Мы ведь больше не живем, не правда ли?

Он ясно расслышал улыбку в ответе Аванти:

— Мы и живем и умерли, земляк! Земля умерла для нас, как и мы для нее. Но все-таки мы живы. Разве мертвые не живут? Может быть, впрочем, вы правы, что это последнее наше странствие.

— Древние верили в ладью Смерти.

— Выходит, пожалуй, я — Харон?

— Разумеется. Вы с доктором Крафтом говорите, что наше движение—падение. Стало быть, мы низвергаемся в бездну с водами Стикса. Эти вон звезды там— свечение тех вод. Нас подхватило ее стремительным течением, и мы летим в бездну без всякой надежды на спасение.

— Мне безразлично. Предполагайте, что хотите. Но собственно говоря: неужели я кажусь вам рулевым ладьи Смерти? Разве я похож на старого, мрачного перевозчика, бьющего строптивых своим веслом и насильно везущего воющих мертвецов в Тартар, в ад?

— Нет, вы-то живой... Живей всех, кого я встречал на земле. Вы вдыхаете жизнь во всех нас. Но мы-то, остальные, разве не мертвецы, в самом деле? Меня выловили вы из окопа, полного ядовитых газов. Разве я не сожжен весь внутри? А прочие, подстрелившие друг друга в воздухе или пустившие друг друга ко дну, разве они все не привидения, замурованные в одной гробнице? Куда девалась кровь из

их жил? Разве они не перестали ненавидеть и любить, испытывать влечения, являющиеся основой жизни и ее единственными доказательствами? Разве они не умерли, как и те соки земные, которые больше не струятся в них? Разве нити их жизни не перерезаны вместе с узами, которые привязывали их к одному единственному, знакомому им берегу жизни? Может ли жить растение без почвы? Может ли существовать человек где-либо, кроме той планеты, из элементов которой создан?

— Да, мой друг, мы уже наполняемся жизненной силой того нового мира, куда стремимся.

— Стало быть, мы мертвецы, сбросившие земную жизнь, как изношенную оболочку, но еще не нашедшие для своих оголенных душ облачения новой жизни!

— Утешьтесь: найдем!

Эрколэ Сабенэ вдруг пронизало словно ледяным холодом. И он медленно продолжал разматывать клубок своих туманных мыслей:

— Да, мы—тени, втиснутые в этот фантастический шар, ввергнутые в извечный мрак. Мы—мнимоумершие. Мы больше не дышим. Не чувствуем в своих жилах течения крови жизни и не почувствуем, пока не обретем новой родины, новой атмосферы для наших легких, новой почвы для ног, нового времени для исчисления нашей жизни.

— Верно,—сказал Аванти.—Мы находимся в переходном состоянии. Мы больше не исчисляем времени

по-земному. Мы соорудили себе марсовские часы, которые еще не годятся для употребления. Мы в первый раз очутились во власти безвременной вечности. Мы вкушаем четвертое измерение. Наслаждаемся хмелем экстаза, о котором имели на земле лишь смутные отрывочные предчувствия. И вы хоть на мгновение ощутили, что время—понятие земное, своего рода воображение, планетарная галлюцинация. Мы привыкли отсчитывать утро и вечер, и сутки, и середину лета, и новый год, разделять наше существование жалкими перегородками из солнечных годов, не задумываясь о том, что время—субъективное заблуждение, вечная растяжимость, позволяющая целую жизнь сжать в одно мгновение или—растянуть миг до бесконечности. Мы могли и влачить время в бесконечной адской скуке и наполнить секунду ощущением вечности. Мы воображали, что живем в мире с *единым* временем, что существует нормальное измерение времени, что во всей вселенной одинаковый темп, один общий пульс. А в действительности ничто во вселенной не происходит одновременно. Нам нужно было только открыть окно в это ночное небо, чтобы звезды сказали нам, что время—лишь тикающий в нашем собственном сердце часовой механизм. И все небесные механизмы—планеты и звезды—идут по-разному, и никакой земной император Карл V не может заставить их итти одинаково. Всякое время вне нас самих — лишь волны света, бегущие к нам

из неизмеримых далей; мы измеряем головокружительные понятия — световые годы—меркою нашего солнечного годика и даже мысли нашей даем год, чтобы долететь до звезд!

Эрколэ Сабенэ взялся за голову и безнадежно произнес:

— Нет, мне лучше махнуть рукой на все это. С ума сойдешь при мысли о том, что такое время.

— Да, мы знаем лишь субъективный миг настоящего. Прошедшее и будущее суть понятия пространства, протяженности и соответственно этому растяжимы; это нечто такое, от чего мы удаляемся и к чему приближаемся. Все зависит от точки отправления и от расстояния. То, что случилось на покинутой нами планете, хотя бы давность этого измерялась для нас тысячами солнечных годов, может еще быть наблюдаемо современниками-свидетелями с какого-нибудь небесного тела, отстоящего достаточно далеко от Земли. Переход Ганнибала через Альпы, землетрясение в Лиссабоне, пожар Москвы еще происходят перед глазами, следящими за нашею планетою с надлежащих расстояний. История, давно умершая для нас, является для отдаленных наблюдателей живою, настоящим или грядущим. Быть может, все, что мы называем жизнью и развитием, становлением и прогрессом—лишь гигантский фолиант, который не пишется, но извечно написан уже. То, что отдельный человек понимает, как жизнь свою,

есть сознание, зажженное в его «я» для того, чтобы оно могло пробежать несколько страниц из гигантской книги вечности, от личной своей маленькой альфы до такой же омеги, от того мига настоящего, в который сознание зажглось, до мига, когда оно потухнет. Мы читаем в этой книге нашу собственную маленькую судьбу и воображаем, что *живем*. Эта книга неизменна, сколько бы раз ее страницы ни освещались и ни перечитывались. Жизнь—лишь иллюзия. Отрывок бесконечной фильмы вечности, оживающей, когда картины выплывают на свет и отражаются в зрячей душе. А самые души миллиардов рождающихся и умирающих—лишь светлые блики дрожащего света, падающего на страницы развернутой книги вечности, в которой каждому из нас отведена страница, другая.

Эрколэ Сабенэ с волнением следил за этим ходом мысли, который не вполне понимал, но который время от времени зажигал бодрящую искру в полумраке его мозга.

— Да,—прошептал он,—я угадываю величие такого миропонимания. Но, если мир неизменяем, если это лишь бесконечная фильма вечности, то все должно быть известно заранее. И вы, значит, фаталист, верящий в то, что все в мире заранее предопределено?

— Не предопределено, но завершено. Читая книгу, вы ведь не представляете себе следующие

главы, как предопределенные; вы просто как бы переживаете их одну за другою, хотя и знаете, что они уже *написаны*. Вы следите за ходом событий, как за живою жизнью, не заботясь о том, что и конец уже напечатан. А иногда вы перескакиваете через промежуточные главы прямо к заключительной, так как не хотите ждать, но хотите знать «судьбу» заранее.

— Так вы думаете, это возможно, что «судьба» имеет лишь один конец?

— Разумеется. Разве *готовая книга* может иметь больше одного конца?

— Так у нас совсем нет свободной воли? Ни одна минута не имеет двух возможностей? Выбор совершенно исключается?

— Да. Причинная связь—одна. Мы только то и можем сделать, что делаем. Мы обманываем себя, когда думаем, что нам открыто много путей и что они ведут к разным выходам. Мы на миг поднимаем глаза от страниц книги и фантазируем по-своему, но как-только мы вновь схватываем нить в книге нашей судьбы, так мы связаны с ее строками. Что проку было Наполеону на св. Елене сознавать свои ошибки и раскаиваться, что он слишком далеко зашел в Россию и слишком засиделся в Москве? Когда он находился в центре событий, они непреодолимо увлекали его, так что он мог делать лишь то, что делал.

— Но раз нет свободы воли, к чему тогда все надежды и возможности, манящие нас в юности?

Отчего сразу не захлопнуть книгу, отказавшись читать дальше?

— Некоторые люди так и делают,—ответил Аванти с тихою грустью.—Те, которые в момент безнадежного, безотрадного ясновидения, повергающего в отчаяние, убеждаются, что никакой игры жизни нет, что она сыграна раз навсегда от вечности. А потому разом тушат свет, при котором читали книгу своей судьбы.

— Вы сами никогда не испытывали минут такого отчаяния? Что за радость читать вместо того, чтобы жить!

— Вы забываете, что книга моей судьбы одна из самых увлекательных, потому я никогда и не *перескакиваю*, но с восторженным наслаждением переживаю страницу за страницей, не желая знать конец заранее. Ну, разве можно вообразить себе роман сказочнее нашего?

— Так вы не видите конца этой безумной авантюры?

— Не вижу и *не хочу* видеть его, пока он не придет.

— Но вы *могли бы,* не правда ли? Вы ведь верите, что можно предвидеть будущее?

— Настоящее, прошедшее и будущее—все лишь понятия, зависящие от расстояния. Если вы достаточно отодвинетесь в мировом пространстве, вы увидите, как текущую действительность, то, что называли

на земле прошедшим, древностью. Если двинетесь в противоположном направлении, если, так сказать' микроскопически присунетесь к событиям и вещам и если вы достаточно близоруки, то различите все нити развития, увидите их уходящими в глубь перспективы, которую называете будущим. Жизнь человека можно прочесть по линиям его руки в самый момент его рождения, и эти линии уже твердо проведены не только, когда он еще плод во чреве, но когда он еще лишь яичко с едва видимым семенем. Надо только заглянуть в глубь, все линии начинаются с самого начала, и по ним можно видеть будущее.

Эрколэ Сабенэ молчал, глядя во мрак на крупные, яркие, немигающие звезды. Не глаза ли это, наблюдающие за ним? Он ощущал свое собственное трепещущее, маленькое «я» распластанным, как прозрачный препарат на стеклянной пластинке под гигантским микроскопом. Он видел лишь силуэт Аванти на фоне мрака, обрамленный звездами, но как-будто ощущал проникновенный его взгляд в самой глубине своей маленькой дрожащей души.

— Неужели вы в самом деле,—пролепетал он,— неужели вы в самом деле... могли бы... глядя на мою руку, предсказать мою судьбу?

Аванти рассмеялся в этой тишине и тьме звонким, хрустальным смехом.

— Нет, земляк и друг! Я не берусь быть предсказателем. Ни вы, ни я не должны перескакивать

через страницы нашей жизненной книги, становящейся из мертвой живою от дыханья уст кого-то высшего.

XII

Дождь метеоритов.

После этой экскурсии в область трансцендентального оба смолкли.

Эрколэ Сабенэ, закрыв глаза, наслаждался близостью Аванти, будившей в нем такие ощущения, как будто он сидел на берегу своего возлюбленного озера Неми, дышавшего на него своею прохладою.

Не слышно было ни звука. В устройстве «Небесного корабля» Эрколэ особенно восхищало полное отсутствие шума машин: ни визга колес, ни стука поршней, ни треска взрывов, ничего подобного тому, что так раздражало его во всякой земной динамике.

По его мнению, можно было тогда лишь считать «силы» вполне покоренными, когда они работали добровольно, с воздушною легкостью, без тех стонов, какие издавала «безжизненная материя» или те материалы, которыми пользуется механика на земле. Они вовсе не безжизненны, они реагируют на жестокое обращение громкими, дикими воплями, пронзительным визгом, зубовным скрежетом. Еще в детстве поражали его стенанья раскаленного железа, лежащего на наковальне под ударами молота, как

мученик на ложе пытки. Или визг трамвая на закруглении рельс, словно на них лежало живое существо, которое дико взвизгивало, попав под трамвай. Право, можно было подумать, что и железо, и камень, и весь прочий «мертвый» сырой материал наделен жизнью, подобно людям и животным, раз так стонет и визжит от всякого неосторожного прикосновения.

Но здесь, на борту «Космополиса», действовали силы высшего порядка. Повиновались безмолвно, подобно духам-невидимкам. Солнечные машины всасывали жар и свет огромного солнечного диска беззвучно, как огромные губки, впитывающие в себя жидкость. Моторов не было видно, но они работали, подобно организмам, под большими зеркально-блестящими поверхностями. Невидимые трансформаторы претворяли «силу» в необходимые количества воздуха, света и тепла... Загрязненная вода проделывала полный круг превращения, фильтруясь, просветляясь и, в виде чистой ключевой воды, возвращаясь обратно в водоприемник и снова вытекая оттуда, как кровь из сердца. Прислушавшись, можно было различить ее как бы радостное и обновленное журчание по жилам-трубам. Из вентиляторов, обновлявших воздух, веяло свежим ветром, наполнявшим все помещения бальзамическим весенним ароматом. Воздух был даже насыщен озоном и напоминал свежий морской воздух на побережьи Неаполя в самое приятное время года. Эрколэ Сабенэ немел от восхищения при виде отме-

чавших состав воздушной смеси маленьких измерителей и чувствительнейших регуляторов, одного легкого поворота которых было достаточно, чтобы смягчить или увлажнить, или освежить атмосферу в помещениях «Космополиса».

— Я не понимаю,—сказал он раз Аванти, — почему вы сначала не осчастливили всеми этими гениальными изобретениями нашу Землю? При помощи этих совершенных воздушных машин вы могли бы сделать подводную лодку идеальным оружием.

— А разве может оружие быть *идеальным?* — спросил Аванти. — Единственное идеальное оружие то, которое одним ударом убило бы самую войну. Вот единственное оружие, которое надо еще изобрести. И оно будет изобретено. Как бы только, убив войну, оно не опустошило заодно всю Землю. Но прежде история должна заклеймить всех тех приспешников сатаны, которые изобретали и совершенствовали оружие человека-зверя, начиная с того, кто придумывал и сооружал подводные лодки, «толстую Берту» и бомбы с ядовитыми газами. Неужели я или другой идеалист стали бы расточать свой ум и изобретательность на усовершенствование этих измышлений дьявола? Нет, пусть лучше подводная лодка навеки останется на дне моря, как издыхающий от недостатка воздуха Левиафан! И будь проклят тот, кто вздумает вновь выловить ее и сделать из нее «идеальное» оружие!

— Но ведь вы сами были офицером, — возразил Эрколэ Сабенэ, — таким же воином, как и я, с самыми «реальными» намерениями.

— Да, к сожалению, Запад все еще влачит за собой варварское наследие, именуемое «милитаризмом». Почему не приучили нас смотреть на «военных» глазами китайских мудрецов, которые ставили офицера на одну доску с палачами? Это значило бы только называть вещи своими именами и поставить на надлежащее место убийц с профессиональным образованием, состоящих на казенной службе.

Эрколэ Сабенэ возмутился:

— Капитан Аванти, вы забываете, что сами честно служили короне и отечеству!

— Да простит мне это бог, земляк! Все мы были на Земле палачами, зарабатывали себе кусок хлеба и знаки отличия убийством. Мы потому и дезертировали, что вдруг увидали, на какое скверное дело дали себя увлечь, наивно воображая, будто служим высоким и благородным целям.

— А я надеюсь навсегда остаться в этом заблуждении,—настаивал Эрколэ Сабенэ.

— По мне, сделайте одолжение,—ответил Аванти.— Не забудьте только, что на «Космополисе» нет места палачам.

Наступила мучительная для Эрколэ пауза, которую вдруг прервал треск взрыва, нарушивший безмятежную тишину «Космополиса».

— Что это такое?—воскликнул Аванти.

— Что-то похожее на выстрел или на взрыв, — ответил Эрколэ.

— Здесь никто не смеет стрелять и нет ничего взрывчатого.

Оба прислушались.

— Аванти! — послышался громкий голос. — Ты здесь, Аванти?

Крафт старался в темноте нащупать руки Аванти.

— Что это был за треск, Александр?

— Похоже, будто треснуло одно из наших стекол.

— Немыслимо! Давление и температура нормальны?

— Измерители только-что проверены, — раздался из темноты новый голос.

— А в Солнечной камере?

— Ничего такого незаметно.

В ту же минуту раздался новый оглушительный треск.

— Это снизу, — неуверенно произнес Крафт. — Пойдемте вниз.

Звездная терраса наполнилась тенями. Черные силуэты заслоняли собой звезды. Испуганный экипаж «Космополиса» спешил к своим руководителям узнать, что означает этот резкий, отрывистый треск. Никто не говорил громко, короткие вопросы и ответы давались шопотом.

— Стоп! — звучным голосом приказал Аванти спешившим вниз.— Наши стекла могут пострадать. Они

трещат от наружных ударов. Немедленно забронировать их!

— Здесь? — спросил Крафт.

— Повсюду! — распорядился Аванти.

Команда рассеялась, и через несколько мгновений послышалось грохотанье огромных выдвижных щитов из стали, которые и одели шар непроницаемою бронею. Все небесные светила как бы погасли разом. Звездная терраса погрузилась в кромешный мрак. Аванти нажал какую-то кнопку, помещение озарилось прозрачным светом и стало похоже на полутемный трюм корабля; сквозь выпуклые наружные стенки из толстого стекла мерцала сталь щитов. Ставни задвинулись и в камере Земли, закрыв серебряный диск покинутой планеты. В Солнечной камере черные стальные щиты заслонили сверкающее солнце, не пропуская ни единого луча в эту огромную замкнутую камер-обскуру, до сих пор бывшую вечным солнечным пеклом.

«Космополис» совершал свой путь в небесном пространстве, как массивное стальное ядро, выпущенное из орудия в цель и летящее теперь в эфире, подобно миниатюрной планете, с узкою полоской спектра на одной из своих сторон, обращенною, как огненный присасыватель, к еще далекой Красной планете.

Все, кто мог, поспешили в спектральный подвал. Жуткий страх фосфорически вспыхивал на бледных

лицах, окруживших отвесную зрительную трубу, в которую попеременно наблюдали Крафт и Аванти.

За двумя первыми трескучими взрывами последовал целый ряд то одиночных, то залпами, то более слабых, то сильнейших. Сталь под ногами команды звенела и грохотала, словно бомбардируемая градом отскакивавших от нее камней. Они то выбивали по ней трескучую дробь, то поодиночке ударялись о нее с глухим стуком, а время от времени разражался настоящий громовый удар, заставлявший стальной шар гудеть, как колокол.

Крафт, не отрываясь, смотрел в трубу, все время сообщая: «Курс без перемен. Никаких отклонений. Марс все на той же точке». Его голос звучал как-то особенно слабо среди шумных детонаций звуковых волн, с особенной силой отражаемых в этом тесноограниченном пространстве. У присутствующих от напряжения даже заболели барабанные перепонки.

Аванти стоял некоторое время со скрещенными руками и закрытыми глазами, но вдруг коснулся рукою склоненной шеи Крафта.

— Александр! Надо закрыть! Придется нам втянуть внутрь свое «щупальце». Мы рискуем, что удар попадет в трубу. Встань!

— А спектральная щель? — спросил Крафт.

— Ее тоже надо обезопасить. Надо сузить ее до минимума в пять сантиметров. Новиков, позаботьтесь надвинуть щит на радиоспектр! Уоткинс, уберите трубу!

Русский и англичанин склонились над маленькими рукоятками. Через минуту радиоспектр был задвинут внутренним стальным щитом и невидимый изнутри сиял в пространстве узенькой радужною полоской, не шире лезвия ножа. Зрительную трубу втянули внутрь, словно щупальце. Линзу объектива защитили стальною ставней такой же толщины, как и броня остального шара. Закрылся последний глазок, смотревший в бесконечность!

Лихорадочное возбуждение охватило умы всех заключенных в шаре, которым оставалось теперь лишь глядеть друг на друга. Даже Крафт безостановочно переводил взгляд своих расширенных зрачков с одного лица на другое. Залпы взрывов все продолжались, вызывая каждый раз нервную судорогу на его мощном лбу. Никто не смел ни о чем спрашивать. У всех словно язык прилип к гортани от этих трескучих раскатов.

Аванти все еще стоял с опущенными веками, погруженный в свои думы и, как всегда, склонив голову слегка на бок. Наконец, после одного особенно мощного громкого раската, он открыл глаза и крикнул сквозь грохот:

— Все по местам! Все за свое дело!

Никто не двинулся с места. Один Аванти отправился наверх.

— Полно вам стоять наподобие соляных столпов!

Он уже поднимался наверх, когда Крафт крикнул ему вслед:

— Аванти, они ждут от тебя объяснения.

— Да разве вы не можете сами объяснить себе?— с тихой улыбкой обернулся он к ним.

— Стало быть, ты-то можешь объяснить? — задыхаясь, спросил Крафт.

— Выйдем из этого подвала, где голоса не слышно.

Аванти взбежал наверх, остальные за ним. В верхнем зале с куполом бомбардировка была не так слышна: звуки доносились глухо, словно из глубины.

— Ну, что же это? — охрипшим от волнения голосом спросил Крафт.

— Нечто вполне естественное,—ответил Аванти.— Мы, повидимому, попали в метеоритный вихрь. Это метеоры нас бомбардируют.

— Так мы должны были *до* этого увидеть их раскаленные ядра,—возразил грек Планетарос, испуганно оглядывая товарищей своими черными, как уголь, глазами. — А кто-нибудь из нас заметил хоть один метеор?

— Вздор! Вокруг «Космополиса» нет атмосферы, как вокруг Земли. Метеоры раскаляются, преодолевая сопротивление ее воздушной оболочки, которую рассекают с огромной скоростью.

— Как долго?—спросил американец Уильямс, пережевывая вопрос своими четыреугольными челюстями.

— Да! Как долго это продлится? — подхватил англичанин, стройный и худой Уоткинс, обрадовавшись случаю присоединить и свой родной язык к смешению языков, главным образом французского и итальянского.

— Нет, как долго можем мы выдержать? — поправил Уильямс. — Нас каждую минуту может расплющить. Что значит наша скорлупа перед таким каменным дождем?

— Они собственно не падают на нас дождем,— ответил Аванти. — Они просто летят нам навстречу. Это доказывается тем, что удары раздаются у нас под ногами. Повидимому, в своем падении мы угодили в хвост какой-то кометы. Придется нам пересечь его. Нам ничего не остается, как продолжать свое падение по отвесной линии да надеяться на прочность нашей стальной брони, отражающей удары, благодаря своей шарообразной поверхности.

— Это, конечно, опаснее, чем вы думаете, капитан Аванти,—заметил болгарин Рылов, хмуря брови, которые у него топорщились, как перья плавников.

— Нет, я не боюсь никаких опасностей, я подготовился заранее, — ответил Аванти.

— Даже к тому, чтобы в любую минуту быть расплющенным? — спросил американец.

— Для этого ведь не требуется особой подготовки, — улыбнулся Аванти. — Разве не всем нам известно, что судьба наша висит у нас над головой,

готовая обрушиться на нас, и не в нашей власти помешать этому? Даже на той самой Земле, которую мы покинули, вы ничем не были гарантированы от этого, разве только страхованием от несчастных случаев, но и оно было бы нам ни к чему, если бы нам грозило быть раздавленными.

Грохот снизу доносился попрежнему. Стальная броня гудела, но незаметно было никаких толчков, ни сотрясения.

Все прислушивались. Большинство дрожало от страха. Понемногу вся команда собралась вместе. Даже солнечные кочегары: молчаливый турок Кемаль-бей, однорукий француз Дюмюр и глухой бельгиец Поль де Брон (меньше всех испугавшийся) присоединились к прочим. Им не нужно было больше следить за топкой. Все жались в кучу, подобно животным во время грозы. Многие стояли с закрытыми глазами, словно страшась увидеть собственную гибель.

Треск ударов слился в сплошной оглушительный гул.

— Мы гибнем, идем ко дну!—вырвалось у Крафта.

— Глупости, Александр, здесь нет никакого дна. Нас со всех сторон окружает небесный океан. Это скорее можно сравнить с морскими водорослями, опутавшими наш корабль.

— Водоросли! — подхватил его сравнение американец. — Представьте, что мы угодили в Саргассово

море! Тогда нам никогда не выбраться отсюда. Я-то знаю.

— Ничто не может преградить нам путь. Мы все равно пробьемся вперед. Вспомните, какая сила влечет нас. Сам Марс притягивает нас к себе. Мы следуем по своему неизменному пути. И остановимся, где следует. А теперь каждый должен вернуться к своим обязанностям. Все за работу!

Длительный гул опять сменился глухими, перемежающимися залпами. Аванти двинулся вперед, а за ним зашевелились и некоторые другие.

— А как же солнечные машины? — спросил Крафт.—Как долго можем мы обойтись без солнца?

— Сколько придется, Александр. Мы не можем открыть ставни, пока не выйдем из вихря метеоритов. Надо как можно бережливее расходовать накопленную нами силу! Экономить свет!—предупредил Аванти.

Крафт остановился возле втянутой внутрь зрительной трубы.

— Пойдем,—сказал Аванти.—Ее нельзя пускать в дело. Нельзя рисковать, чтобы наше щупальце сломалось.

XIII

В заколоченном гробу.

Эрколэ Сабенэ беспомощно бродил по лабиринту «Космополиса», не зная, за что взяться. Освещение приняло какой-то мрачный, таинственный оттенок. Зажжено было столь небольшое число лампочек, что все помещения тонули в полумраке. Он даже запыхался от своего безостановочного блуждания вверх и вниз. Другие, впрочем, тоже жаловались на недостаток воздуха, но измерители давали нормальные показания.

Тепло также приходилось экономить, и термометры показывали на несколько градусов ниже обыкновенного, тем не менее у большинства выступал пот на лбу, и руки были влажны.

Эрколэ Сабенэ нигде не находил себе места. Укладывался в свой гамак, затыкал себе уши пальцами, но не мог забыться. Напрягая зрение, штудировал Скиапареллиевы карты Марса, но в голове у него быстро образовывался настоящий сумбур от этого лабиринта ландшафтов с названиями, почерпнутыми из греческой мифологии и земной географии. Все эти точки и линии—предполагаемые моря и материки, горы и долины, — хоть и являлись лишь плодом земной фантазии, были наделены именами в роде: Утопии и Тавматии, пред-

горья Озириса, озера Солнца, бухты Атланта, залива Титанов. Люди, даже пускаясь в научную экспедицию по межзвездному океану, не могли отрешиться от своих земных представлений и тащили их за собой на небо.

Как безразлична была вся эта паутина греческих имен ему, заключенному судьбою во чреве непроглядного мрака! «Небесный корабль» стал ведь «подземным», чтобы не сказать «подводным» судном. Эрколэ Сабенэ и остальные двенадцать человек команды были просто-напросто личинками в навозном шарике, скатанном невидимым жуком и брошенном в вечную тьму.

Эрколэ не ощущал больше ни движения, ни падения. Он слышал только стук и трескотню, словно целый рой демонов беспрерывно щелкал костлявыми пальцами по их шарику, стараясь продырявить его скорлупку. Скоро ли они справятся с ней и повытаскают всех личинок?

Он не разговаривал со своими товарищами по несчастью. Они слонялись вокруг, как тени, и производили на него впечатление выходцев из сумасшедшего дома. Один напоминал камбалу, другой угря, вставшего на хвост. Солнечные кочегары попрежнему щеголяли в красных сетках, не замечая, что у них зуб на зуб не попадает от холода. И почти все ходили с закрытыми глазами, покачиваясь, словно их мучила зубная боль.

Эрколэ Сабенэ, шатаясь, добрел до подвальной обсерватории и здесь во весь свой рост растянулся на полу над полосой спектра. Здесь треск и грохот раздавались с особенною силою и словно подхватывали его, отчего у него создавалось смутное предчувствие, что, в случае несчастья, эта раскаленная световая сила под ним не даст ему упасть, удержит его в воздухе.

Но даже и здесь надежда скоро покидала его, и он казался себе самому трупом на дне заколоченного гроба. Он упирался глазами в надвинутую крышку. И все глубже и глубже опускался в бездонную могилу вечного мрака, наполненного космическим щебнем, который с шумом и треском ударялся о стенки гроба.

Скоро весь воздух в этой герметически закупоренной гробнице будет израсходован. Уже становилось душно. Эрколэ Сабенэ знаком был с морской болезнью. Но эта «небесная» болезнь была куда мучительнее. Здесь не было уходящей из-под ног палубы, не было беспрерывного качанья всех вертикальных предметов, ни внутренней дрожи корпуса судна, ни чувства тошноты; зато здесь все нервы натягивались, дрожали и ныли в этом стремительном падении, все существо до самого мозга костей пронизывалось мучительным током, тянущим в бездну. И Эрколэ Сабенэ старался очнуться, ему казалось, что он сейчас задохнется, но, когда он оторвал

голову от пола и широко разинул рот, то заметил, что дыхание в порядке. Только в горле пересохло; его томила невыносимая жажда. И вдруг он вспомнил про кают-компанию, увидел перед собой узкий стол с бутылками кианти.

Шатаясь, поплелся он туда. Но по пути услыхал голоса:

— Мы не кроты, капитан!

— Подайте нам солнце!

— Мы не в силах дольше терпеть!

Голоса звучали необычайно слабо и прерывисто.

Кроты! Он бы сказал: жуки-древоточцы, тикающие, как часы, в деревянном шарике.

И даже голос Аванти звучал утомлением:

— Нам не остается ничего другого, как терпеть.

— Откройте ставни! Дайте нам солнце, капитан!

— Невозможно! Наши стекла разобьются!

— Да лучше умереть! Только бы не быть заживо погребенными! Солнца! Дайте нам солнце!

— Если оно еще существует!

— Впустите к нам солнце, или мы погибнем!

— Кто лег, тот уже не встанет.

— Что это значит? Кто там лег? Пойди узнай, Александр.

— Они мертвецки пьяны! — послышался густой бас.

Аванти вскрикнул и громко скомандовал:

— Все в Солнечную камеру!

Солнечная камера напоминала мертвецкую. Единственная лампочка бросала зеленоватый фосфорический отблеск на отполированные поверхности конденсаторов солнечной энергии, привыкших купаться в золоте солнечных лучей. Не блестели и градусники и вентиляторы. Воздух казался спертым, насыщенным раздражающим запахом гнили. Трескотня ударов доносилась и сюда.

Аванти и Крафт увидели лишь несколько понурых фигур, тихо пробравшихся наверх.

— Этого быть не может,—шепнул Аванти своему другу великану, державшему его за руку.

— К сожалению, это так. Уильямс и Планетарос напились до того, что свалились с ног. *Вот,* что я поймал; она ходила по рукам.

Крафт поставил на стол черную бутылку с коротким горлышком и без этикетки.

— Но это же бесчестно!—воскликнул Аванти.— Они все дали слово!

Крафт пожал плечами и ответил:

— Соблазн сильнее всяких обещаний и клятв.

Аванти встряхнул бутылку; в ней еще болталось на донышке.

— Александр! Постарайся собрать их всех сюда. Хотя бы тебе пришлось притащить их на руках. Зови всех на «откупорку».

— Что ты собираешься делать, Аванти?

— Разве ты не слышишь? Откупорку!

Крафт вышел. Аванти проверил запасы кианти в кают-компании. Все бутылки, бывшие не под замком, оказались пустыми, но запертый запас, ключ от которого хранился у самого Аванти, остался нетронутым. Теперь надо было постараться выудить всю контрабанду, какая имелась на руках.

Обещанная «откупорка» привлекла в Солнечную камеру всю команду. Крафт приволок тяжелого топорного американца. Эрколэ Сабенэ пробуксировал маленького японца, который цеплялся за него, как лунатик. В общем, трудно было отличить пьяных от трезвых. Совсем охмелевший русский, Новиков, держался на вытяжку, как на параде, тогда как турок Кемаль-бей, никогда в рот не бравший даже разбавленного кианти, едва держался на ногах.

Аванти обвел взглядом все эти серые или бледные, как у привидений, лица и заговорил жестким, твердым тоном:

— Друзья и товарищи! Страсти опрокидывают все законы, а дьявол алкоголя сидит глубже языка, который дает клятвы. Вы нарушили обет, данный вами не мне, а самим себе. И я не собираюсь судить вас. Дадим лучше праздник в честь солнца. Вы правы: если уж нам суждена смерть, то пусть она постигнет нас при свете солнца. Но прежде, чем откупорить окна, вы должны принести все, что у вас еще осталось спиртного, этого «солнца», согревающего вашу кровь. Не утаивайте ничего. Обещайте

все принести сюда. Все бутылки на стол для нашей вакханалии в честь Солнца!

Даже совсем или наполовину охмелевшие мозги прояснились. Некоторые тут же на месте повытащили своих возлюбленных утешительниц; другие пошли за спрятанными сокровищами. Перспектива общей попойки подняла настроение. Трезвые помогали искать и носить. Всех окрыляло обещание впустить солнце. Аванти словно вдохнул в них свое мужество.

С тайным содроганием смотрел он на все растущую на столе батарею больших и малых бутылок. Все были без этикеток, все взяты с собой тайком.

Батарея была выставлена. Все с напряжением ждали дальнейшего.

— Откупоривайте!—скомандовал Аванти.—Пробки вон!

Руки заработали. Хлопанье пробок смешалось с трескотней бомбардировки извне. Из горлышек многочисленных бутылок поднимались винные пары и опьяняющими волнами разносились по комнате. Даже наиболее отупевшие раздували ноздри и раскрывали глаза.

Аванти действовал с уверенностью, почти гипнотизировавшей всех.

— Каждый бери свою бутылку!—скомандовал он, схватив сам одну.

— Мы откупорили и теперь сделаем пунш из наших клятвопреступлений.

Быстрым движением он приподнял крышку вместительного стеклянного чана, который до сих пор заслонял спиною.

Все бутылки автоматически приподнялись над этой широкой пуншевой чашей, сверкавшей топазовым блеском, и словно какая-то неведомая сила разом выплеснула в нее все эти крепкие напитки, являющиеся для многих людей жизненным элексиром. Как из кратера, хлынули из этой общей чаши горькие и сладкие спиртные пары; духи алкоголя поднимались со дна, смешивались и порождали новые демонические ароматы. А время от времени из чана вырывался резкий запах аммиака, от которого свербило в носу.

У Аванти на минуту закружилась голова при виде всех этих бледных лиц, вплотную окруживших наполненный спиртом кратер. Среди них были еще уста, трепетавшие от жажды; были еще ноздри, раздувавшиеся от вдыхаемого пьянящего аромата. Как тени из преисподней, толпились люди вокруг лакомой жертвенной чаши. Обитатели Аида осаждали этот алкогольный источник, чтобы завоевать себе жизнь. За тысячи миль улетели они от Земли, но земная страсть к возбуждающим средствам все еще жила в них, соблазняла их и парализовала их волю. Аванти видел руки, судорожно тянувшиеся к чаше, чтобы зачерпнуть себе оттуда последнюю чарку живительной влаги. Видел, как вспыхивало на некото-

рых лицах жадное желание нырнуть с головой в эту мутную вонючую жидкость.

Итак, даже эти избранники, одушевленные, как и он, идеей проникнуть в тайны Космоса, все же оставались рабами своих животных влечений. В минуты страха и сомнения единственным прибежищем для них являлся дьявол алкоголя. Подобно одолеваемым жаждою гномам, окружили они кипучий котел с бесовским варевом и вдыхали спиртное зловоние.

— Солнце!—крикнул кто-то.—Впустите же солнце!

— Да, солнце!—ответил Аванти.—Только солнце может очистить эту загрязненную и зараженную вами *воду*. Молитесь же, клятвопреступники, каждый по-своему, молитесь, чтобы солнце простило вас и опять дало вам узреть свой лик! Молитесь, чтобы кончился этот ураган метеоритов. Раньше вы все равно не увидите солнца!

Аванти исчез. Крафт последовал за ним. Один по одному разбрелись и остальные. Лишь двое остались на месте. Они не могли преодолеть свою тайную страсть, не могли уйти от чана, поглотившего столько драгоценной влаги, и жадно вдыхали винный смрад, забывая, что он исходит из чана с помоями.

XIV

Солнце вернулось!

Вялый, уничтоженный, пластом лежал Эрколэ Сабенэ в своем гамаке-саркофаге. Страус спрятал голову в кусты, чтобы не видеть грозящей ему гибели. Всякая надежда исчезла. Бомбардировка метеоритов не прекращалась.

Если «Космополис» действительно угодил в хвост кометы, то, пожалуй, обречен веки-вечные кружиться в мировом пространстве. Эрколэ не представлял себе, как долго это уже длится. Да и не в этом было дело. Вопрос сводился к тому: надолго ли хватит провианта и прочих запасов, и как долго воздушные и осветительные машины смогут работать без притока солнечной энергии.

Капли пота проступали на его лбу. Спеленутый фиолетовым полумраком, он чувствовал себя словно в безграничной пустыне, погруженной в зловещий туман. Заживо погребен! Замурован вместе с другими смертниками в шарообразной гробнице. Может статься, языки адского пламени уже лижут оболочку «Космополиса», как стенки герметически закупоренного котла? Нет сил дышать. В воздухе пахнет серой.

Обливаясь потом, встал он со своего ложа. Сердце стучало взапуски с ударами снаружи. Он ощупью выбрался из своей каюты и стал под душ, чтобы

освежиться. Но воды не было, водопровод не действовал.

Шатаясь, полуголый, побрел он дальше и снова принялся тенью слоняться по лабиринту. Время от времени ему встречались другие подобные же тени. Они смотрели друг на друга провалившимися глазами и расходились без слов. Это был настоящий Аид, где не знающие покоя призраки бежали друг от друга, измученные зубовным скрежетом этой вечной тьмы, которая смыкала свои челюсти, стараясь разгрызть хрупкую скорлупу «Космополиса».

Эрколэ прислонил больную голову к обитой войлоком стенке и уперся в нее обеими руками, чтобы не упасть.

Так он и замер. . Так и умрет. Никогда не поднять ему гробовой крышки, не видать больше ни солнца, ни звезд. Разве можно жить без небесного света? Других томила жажда спиртного, а он жаждал Солнца. Эту любовь к Солнцу внушила ему Земля. Душа его не знала других ценностей. Вообще, как можно жить вне атмосферы привычных земных чувствований, заложенных в каждой складке человеческого мозга, в каждой капле человеческой крови? Его с корнем вырвали из Земли и бросили в мировое пространство, где ему суждено увянуть. О, верните меня на Землю! С ее дождем, ветром, холодом и зноем! Я хочу просыпаться при свете солнца, хочу

ступать по камням! На Землю, на Землю! Хоть на голую равнину Кампаньи!..

Увидеть хотя бы одну былинку, хоть один цветочек ромашки. Он тосковал о маках, кровавыми пятнами разбросанных по сжигаемой зноем равнине. Готов был влачить самое жалкое существование, лишь бы иметь под ногами землю. Калека-нищий на церковной паперти счастливец в сравнении с ним, так как греется на солнце! А он тут извивается, как червяк в упавшем с дерева неизвестно куда орехе, обреченный сгнить тут заживо, если только скорлупа не треснет, и он не сделается добычей всепожирающего пламени.

— Ну, что ж, Эрколэ Сабенэ, ты путешествуешь! Но тебе и во сне не снилось, что последнее путешествие твое будет так ужасно. Прощай, прекрасная возлюбленная Земля, которая, подобно Луне, светит мне издали. Не видать мне ее никогда больше. Прощай, прекрасная Италия! Никогда уже не суждено мне вдыхать ароматы твоей весны. Прощай, дорогая бесценная матушка! Простите, могилы отцов моих, я никогда уже не возложу венка из иммортелей на мрамор ваших могильных плит. Прощайте, прекрасные женщины, которых я любил; вы — дивные весенние цветы, которые я срывал в дни своего счастья. Покойной ночи, Эрколэ Сабенэ! Когда ты в минуту гибели ринешься в жерло вулкана, пусть он вместе с лавой выбросит крохотную туфельку Маризы

обратно на Землю, которой не суждено больше видеть тебе самому!

Эрколэ Сабенэ погрузился в полнейшую апатию. Ему и не хотелось уже очнуться.

Он перестал бороться с дремотой и заснул по-настоящему. Сон перенес его обратно на ту единственную планету, для которой он — человек—был создан, на дивную, несравненную Землю, с ее вечными метаморфозами, с непрерывной борьбой и войнами, со сменой зимы и весны, ночи и дня, грез и действительности. Эрколэ Сабенэ уснул таким крепким земным сном, что выстрелы метеоритов как бы смолкли и перестали оглушать его бедный мозг. Милосердная тишина земной смерти воцарилась вокруг него; ему снилось, что последняя горсть земли брошена на крышку его гроба.

Но эта же тишина и разбудила его. Он проснулся и, как мнимо-умерший, пробудившийся в своем гробу, разом ощутил гнетущий мрак и удушливую тишину вокруг. Сомненья нет, он проснулся! Сколько ни щипал он себя за нос, результат был лишь тот, что у него чуть не началось кровотечение. И сколько ни напрягал он широко раскрытые глаза, фиолетовый полумрак знакомой ему кельи не рассеивался.

Итак, он снова в преддверии ада, в чистилище, в предварительном заключении вместе с другими грешными душами. Крик застрял в его горле, испускавшем лишь хриплые стоны. Зато он услыхал

неумолчный громкий стук своего испуганного сердца. Так ясно, словно ничего другого и не существовало нигде кругом. Да ничего и не существовало. Все стихло. Неужели даже?.. Он прислушался, затаив дыхание. Верно! Выстрелов больше не слышно. Шумная стенобитная машина метеоров перестала работать.

Эрколэ Сабенэ спрыгнул на пол, но и в этом положении ничего не услышал. Прильнул ухом к полу—ни звука и оттуда. Он выскользнул из своей каюты в длинный коридор. Да! Его барабанная перепонка цела! Он совершенно ясно различал щелканье собственных подошв. Он хлопнул в ладоши и, услышав звук хлопка, в восторге принялся аплодировать собственному слуху.

— Да, есть чему аплодировать, — раздался чей-то бодрый голос, и появился Крафт, одетый, с румянцем во всю щеку. — Аплодируйте нашей удаче. *Кончилось!* Мы снова в свободном эфире.

Все спешили в Солнечную камеру. Несмотря на полумрак, Эрколэ видел, как все сияли, обновленные и помолодевшие. Снова наступила праздничная тишина. У многих в глазах стояли слезы. Другие сжимали кулаки от нетерпения и били самих себя по голове.

Наступал конец царству смерти. Им снова вернут солнце, которое уврачует своим всесильным светом их измученные, исстрадавшиеся души.

Аванти вычислил положение Солнца после промежутка, во время которого Марс успел пройти некоторое расстояние по своей орбите. Вращающийся стеклянный купол был соответствующим образом перемещен, и тогда лишь отдал Аванти приказ отодвигать стальные щиты.

Луч света молнией пронизал темную завесу, озарил головы команды золотым сиянием и стал все шире и шире расщеплять мрак. Все глаза, жмурясь, устремились кверху. В щели, ставшей прорехой, закишели звезды, и зрители облегченно вздохнули, вновь узрев небесное пространство и эти мириады светочей. Крышка гроба приподнялась. Небо вновь струило на них свое звездное дыхание, и каждая звезда безмолвно глядела на них.

Щиты раздвигались все шире. Солнечный свет лился сквозь толстое стекло купола, преломляясь и играя, как северное сияние. Наконец, показалось солнце, ослепительное, могучее, жгучее, палящее, горящее и не сгорающее, как само божество в образе неопалимой купины. Белопламенный щит на черном бархатном фоне, сверкающий радостью животворящий огонь, пылающий источник всерасплавляющей силы!..

Все присутствующие невольно, как по команде, сделали одно и то же: подняли кверху лица, раскинули руки, как бы для объятия, и закрыли глаза под дождем жгучих поцелуев светила. Сердца их жадно

пили из этого животворящего источника, которого были так долго лишены.

Так простояли они, пока могли выдержать этот солнечный душ. Затем, один за другим, медленно склонялись ниц, закрывая лицо руками. Некоторые опустились на колени. Они как бы принимали вторичное крещение жизни, подставляя под кропило солнца свои склоненные головы, трепетали от сладостного чувства тепла и возрождающихся надежд. Они, как в купель, погружались в благодатные лучи, предоставляя им омыть и согреть все свое существо до самых сокровенных уголков. Они брали эту солнечную ванну долго, до изнеможения, до головокружения.

Солнце вновь завладело своей камерой и снова заработало на своих бесшумных машинах. Аванти и Крафт пустили их в ход. И аккумуляторы принялись впитывать в себя солнечную энергию, словно изголодавшиеся организмы, а не безжизненные механизмы. Зазвенели тончайшие иглы, задвигались стрелки указателей. Чан с грязной водой повернули перпендикулярно падающим лучам Солнца, и в нем снова начался процесс дестиляции. Словно кровь по жилам воскресшего, снова зажурчала и побежала по многочисленным трубам прозрачная, свежая вода.

Скоро жара стала вытеснять людей из помещения.

Американец Уильямс, покидая камеру, бросил последний взгляд на чан, со вздохом думая о своей

драгоценной виски, выплеснутой в эту зияющую пасть и теперь превращавшейся в чистую воду.

Все без принуждения принялись за свою работу. Одни кочегары, уже одетые в красные сетки, остались у жгучего, добела раскаленного горна.

XV

Красная планета.

Ни Аванти, ни Крафт не вспомнили о камере Земли. Оба поспешили вниз, в подвальную обсерваторию, где находился центр тяжести и двигательная сила.

Крафту не терпелось поскорее выдвинуть свое щупальце, чтобы увидеть, насколько они приблизились к цели. Аванти же удерживал его не из каких-либо опасений, но просто из ребяческого желания обострить ожидание и продлить сладостное предвкушение сюрприза.

— Да перестань же! — крикнул Крафт, хватаясь за подставку зрительной трубы, как за руль. — Чего тут еще ждать?

— Чем дольше мы подождем, тем больше будет наше изумление, — ответил Аванти со своей как бы внутрь обращенной улыбкой.—Скажи-ка, Александр, что ты думаешь увидеть?

— Я ровно ничего не думаю, Аванти. Не томи ты меня муками ожидания.

— А что, если никакой перемены не окажется?

— Только бы нам увидеть под собой наше красное пятнышко, и то хорошо.

— Представь, что оно было создано игрой воображения, оптическим обманом. Что это было просто красным кружком на линзе объектива.

— Да перестань же! У тебя в глазах красные круги!

Аванти спустил трубу и установил ее. Затем уселся на место и приблизил глаз к окуляру.

— Итак?..

— Чего ты медлишь!

— А ты ни в чем не сомневаешься?

— Будешь ты смотреть? Или дашь мне? — спросил Крафт, готовый рассердиться.

— Пожалуйста, доктор Дубиус!—поддразнил его Аванти, уступая ему место. Это было шутливое прозвище, которое он давал другу, когда тот не сразу соглашался с его гипотезами и планами.

Крафт обхватил трубу руками и долго сидел, склонясь над окуляром. Пот выступил у него на лбу; он выпрямился, переменил глаз, предварительно протерев его и прочистив линзу окуляра, и снова уставился в трубу.

Но вдруг он поднял от окуляра свое пылающее лицо и крикнул:

— Ничего нет, Аванти! Ничего не видно!

Аванти только улыбнулся.

— Ни признака Марса, словно его и не бывало.

— Или ты ослеп на оба глаза, Александр?

— Так посмотри сам.

Аванти спокойно взялся обеими руками за трубу, незаметно для друга нажал какую-то пружинку и устремил свой ясный взор в окуляр.

Он смотрел долго и пристально, и когда, наконец, поднял лицо от окуляра, оно вместо ужаса отражало какое-то проникновенное просветление.

— Ну, что?—крикнул Крафт.—Разве не ужасно?..

— Это превосходит самые смелые мои ожидания, — медленно прошептал Аванти. — Взгляни сам, Александр.

— Я достаточно нагляделся. Нечего надо мной издеваться.

— Глупый Дубиус, ты ведь смотрел в закрытый объектив. Теперь щупальце свободно.

Весь дрожа от восторга, созерцал Крафт то, что уже видел Аванти. Красное пятнышко, прежде так неверно мерцавшее во мраке, теперь выросло в большое круглое светило с ясно различимым диском — ликом планеты, изборожденным глубокими разветвленными морщинами. Блики солнца оживляли, заставляли улыбаться этот лик, которого еще ни одно земное око не видало на таком близком расстоянии. Легкими, едва заметными контурами проступали на Марсе «части света», словно причудливо разветвляющиеся

жилки на лепестке розы. Он видел изумительную сеть прямых, параллельных или пересекающихся линий—каналов, стоивших земным астрономам стольких бессонных ночей и стольких гипотез. Синеватые теневые полосы сплетались в узлы и снова разбегались лучами, бороздя красноватый светлый диск планеты, как голубые жилки на розовом мраморе. Крафт весь дрожал, созерцая эти «линии судьбы» на полном лике планеты. Ни один римский гаруспик не исследовал с большим увлечением расположение окровавленных внутренностей жертвенного животного.

Он ясно различал белое пятно полюса, который словно метал мелкие искры за край яркого изжелта-красного круга, по которому были разбросаны зеленовато-синие пятна «морей» и тянулись полосы наподобие щупальцев медузы. Вон та окружность, по-видимому, Тавмазия, а в центре ее, подобно ступице колеса, лежит озеро Солнца с Амброзией и Нектаром, подобно спицам колеса.

И вдруг ему надоела вся эта ареография, состоящая из кучи отбросов земной мифологии—имен и понятий, совершенно неуместных на чуждой им планете. «Космополис» летел прямо в бездну, полную загадок. Никто не имел ни малейшего понятия о том, что представляют собою все эти «озера», «долины», «источники» и «каналы», «материки» и «бухты». Эти тени и пятна—следы растительности или воды? Не

являются ли «каналы» огромными трещинами в толстой коре планеты? Что это за белые пятна и точки? Иней или снег? Или огромные скопления соли, кристаллизующейся вследствие испарения влаги? А эти двойные каналы—не глубочайшие ли расселины и пропасти, из которых клубятся и встают стеною туманы? Не представляет ли поверхность планеты лишь кашу различных солей, растворяющихся и отлагающихся на желтом, как охра, песке пустынь?

Дрожь пробежала по телу Крафта, он выпустил из рук трубу и уставился на своего друга взглядом, полным дикого ужаса.

— Что случилось, Александр?—воскликнул Аванти, хватаясь за окуляр.—Что-нибудь изменилось?

— Нет, мы продолжаем падать. Нам не избегнуть своей участи, Аванти. Ты когда-нибудь думал серьезно обо всех последствиях?

— Ну, разумеется. Чего же тут опасаться?

— Посмотри сам! Я прямо леденею. У меня голова закружилась от этого созерцания собственной гибели. Что ждет нас впереди, кроме холода... пустыни... ужаса?..

— Почем ты знаешь, Александр?

— Это известно всем естествоиспытателям. Разве у кого-нибудь остались еще сомнения в правоте Арениуса и Лау? В том, что Марс—планета необитаемая? Синие и зеленые пятна нельзя считать признаками растительности, потому что никакая флора немыслима

там, где температура чаще всего ниже нуля. То, что прежде считали каналами, просто огромные трещины вулканического происхождения, из которых испаряются остатки влаги. Снег, лед, иней и огромные соляные озера... Можно ли было выбрать целью своего посещения место, более ужасное, чем этот ледяной ад? Аванти, мы несемся к местам, более страшным, нежели могла измыслить апокалипсическая фантазия самого Данте.

Аванти смотрел на своего друга, ни на минуту не заражаясь ужасом, написанным у того на лице.

— Александр, ты опять за свое? Как бывало на Земле, когда тебя вдруг одолевали приступы сомнения. Неужели мы опять будем сражаться гипотезами? Предоставь ученым оспаривать теории друг друга. Почем ты знаешь, может быть, правы как-раз Скиапарелли, Лоуэлль или Фламмарион? Мы отправились в путь в надежде найти один из обитаемых миров, планету, родственную Земле, но с более высоким развитием жизни, найти тот жизненный рай, каким Лоуэлль представлял себе Марс в смысле более совершенных форм культуры, как следствия высоко развитого разума. И вдруг ты, как Фома Неверный, сомневаешься в том, что сам видишь. На полпути к цели, когда Марс готов принять тебя в свои объятия, и ты можешь различить жилы на его обнаженной груди!

Губы Крафта так дрожали, что он едва выговаривал слова:

— Но, Аванти, разве ты не находишь новейшие гипотезы более вероятными? Они подавляюще убедительны своими здравыми, трезвыми, неопровержимыми выводами. Марс все-таки в полтора раза дальше от Солнца, чем Земля. Следовательно, температура там должна быть значительно ниже той, какая нужна для знакомой нам жизни. Разве не заметно уже некоторой убыли солнечной теплоты, которую раньше мы имели здесь в избытке?

Не переставая улыбаться, Аванти покачал своей красивой, слегка склоненной на бок головой.

— Александр, маловерный, эта убыль только в твоем воображении. Я не замечаю никакой. Полсотней миллионов километров больше или меньше в мировом пространстве имеет такое же значение, как если ты передвинешься на два—три шага в ярко освещенной комнате. Разве мы мало говорили о том, как смехотворно со стороны человеческой мелюзги воображать, будто она может в подзорную трубу *видеть* условия жизни на планете, удаленной от них на сотни тысяч миль. Поставь теперь вопрос иначе: неужели ты веришь, что жители Марса могут иметь ясное представление о том, какие живые силы существуют на Земле?

— А наука, Аванти? Есть законы незыблемые, в которых нельзя усумниться. Есть условия, которых не изменить, во всяком случае, поскольку они касаются *жизни*—по нашим понятиям. Что за прок нам

попасть на планету, где наши понятия о жизни совершенно негодны? Наука доказала, что жизнедеятельность организмов требует определенных условий температуры, воздуха, воды, питания, отвечающих... твоим и моим *земным* понятиям, да! Мы находимся на пути к познанию того, насколько эти понятия годны в других условиях. Ты ссылаешься на науку? Что такое земная наука, как не вечное стремление исправить ошибки, допущенные нами раньше? Покров за покровом снимаем мы с плотно закутанной истины, и тебе или кому другому на Земле известно разве, сколько покровов осталось нам еще снять прежде, чем мы узрим Изиду во всей ее наготе? Прежде, чем доберемся до самого духа Космоса, до животворящего сердца вселенной? Наши телескопы измеряют небесный простор. Мы считаем фантастическими цифрами, хитроумно исследуем часовой механизм вселенной. Почти безошибочно определяем скорость движения и точнейшим образом вычисляем расстояния и величины. А в конце концов знаем о самой сущности мирового механизма или о сущности сил, пустивших его в ход, не больше, чем ребенок, разломавший свою механическую игрушку, чтобы заглянуть внутрь. Далеко ли мы ушли, Александр? Знаем ли мы о «вселенной» хоть на иоту больше, чем знали о ней наивные умы древности, воображавшие, что она подобна яйцу, в котором небо—скорлупа, воздух—белок, а Земля—желток? Хотя самое

яйцо и стало во многократ больше, но форма осталась та же. Ты помнишь комнаты в Ватикане, расписанные Рафаэлем?

— Нет, Аванти, я не бывал в Риме.

— Я никогда не забуду того впечатления, которое в первый раз произвели на меня, еще подростка, видения, зарисованные художником-провидцем с ребяческой уверенностью гениального инстинкта. Больше всего я заглядывался на потолок, где на горящем золоте мозаики сверкали яркие краски картин. Там, в одном углу, художник изобразил небесный свод в виде огромного голубого яйца с Землею в центре. Оно похоже на круглый череп самого создателя, увенчанный звездами. Из небесно-голубого тумана проступают знаки зодиака. И, опершись одной рукой на звездный глобус, стоит женщина в зеленом хитоне с развевающимся поясом, подняв вверх другую руку в восторженном созерцании.

— Ушли ли наши ученейшие современные астрономы хоть на шаг дальше этой молчаливой женщины Рафаэля с ее благоговением перед небесным шаром, напоминающим грандиозное муравьиное яйцо? *Ей* я обязан своими космическими устремлениями. Не будь ее, мы бы не сидели тут!..

— И не летели бы навстречу собственной гибели, — подхватил Крафт и прибавил с глубоким вздохом:

— Если бы можно было повернуть обратно!

— Виданое ли дело, чтобы камень остановился в своем падении? Вы когда-нибудь видали подобное, земляк?—обратился Аванти к Эрколэ Сабенэ, который внезапно вырос перед Крафтом, взволнованный, с пылающими щеками.

— Да,—хрипло ответил тот.—Мы остановились... «Космополис» повернул обратно.

— Что с вами, дорогой римлянин? — спросил Аванти.

— Я докладываю вам, капитан Аванти, что Марс...

— ... попрежнему находится на одной вертикали с нами,—договорил Крафт, прильнув глазом к окуляру.

— Марса там больше нет,—с запальчивою уверенностью заявил Эрколэ Сабенэ.—Если хотите взглянуть на Марс, идите в камеру Земли. Там вы увидите Красную планету почти на том же расстоянии, как мы привыкли наблюдать с Земли...

Эрколэ Сабенэ остановился, провел рукой по глазам, словно желая приготовить их к долгожданному зрелищу, и, положив руку на плечо Крафта, прибавил:

— Сделайте одолжение, позвольте мне посмотреть на минуту!

— Что вы собираетесь смотреть? — нетерпеливо спросил Крафт.

— Землю! Ведь мы на пути домой, не правда ли?

— Вы с ума сошли? Не мешайте мне! Я наблюдаю Марс и вижу его почти так же ясно, как вашу

физиономию, которая однако, по правде говоря, куда менее интересна!

— Землю! Землю! Я хочу видеть Землю! То, что вы видите, не может быть Марсом. Красная планета маячит там, наверху! Поднимитесь сами наверх, если вы мне не верите.

— Успокойтесь, земляк!—уговаривал его Аванти.—Подите лучше сюда и помогите мне установить перископы.

— Я хочу видеть Землю!—кричал Эрколэ Сабенэ.—Я хочу домой! Отпустите меня назад. Я хочу назад на Землю!

— Попытайтесь прыгнуть через борт, — сказал Аванти.—Испытайте, продолжает ли Земля попрежнему притягивать вас к себе! Новиков, обратился он к входящему русскому,—не можете ли вы уговорить моего земляка?

— Я уже пытался,—ответил русский,—но ничего не вышло. Он продолжает не верить, что это Земля там наверху, потому что она так уменьшилась в объеме и кажется не больше маленькой планеты. Вот вам мой ручной телескоп; может быть, теперь вы поверите мне.

Эрколэ Сабенэ машинально взял предложенный ему инструмент и поплелся наверх. В телескоп он убедился, что это действительно была Земля, исчезавшая позади, подобно красному фонарику в покинутой гавани.

Невыразимая тоска охватила его сердце. Взгляд его тянулся за исчезающей планетой, словно невидимая кровавая пуповина, длиною в сотни миллионов километров.

XVI

Земной эгоизм.

Лихорадочное, напряженное ожидание охватило весь экипаж корабля, приближавшегося к Красному Марсу. Пользуясь перископами, Марс спроектировали на лист белой бумаги, так что все могли наблюдать окрашенное, трепещущее, как живое, изображение планеты и даже следить за ее вращением вокруг оси.

Никому и в голову не приходило вспоминать при этом карты Марса, сфабрикованные на Земле, с их глупейшею путаницей имен из греческой мифологии, присвоенных воображаемым озерам и побережьям, материкам и морям; сама Утопия вставала перед наблюдателями возрожденным и безымянным миром, уничтожая всякие измышления, оптические обманы, недоразумения и ареографические теории; вместо грубой застывшей маски перед глазами наблюдателей был живой лик планеты с его изменчиво-расплывчатой мимикой.

Марс стал теперь как бы существом одушевленным; подобно голове Януса, медленно поворачивался

он под улыбкой солнца, показывая по очереди округлости своих румяных щек и все свои глубокие морщины. Твердых контуров на этой проекционной карте не выступало; лишь расплывчатые, окрашенные поверхности, световые пятна и точки, словно это была огромная круглая палитра, на которой растирало свои краски само Солнце.

Надвинутая на темя планеты шапка-полюс искрилась; зеленовато-синеватые пятна и полосы пересекали желто-красные поверхности, и перед этой чудесной игрой красок невольно стушевывались всякие предположения: вода это или суша, пояс растительности или пустыня, природа или культура.

Кто или что так искусно расцветило и избороздило морщинами лик этой девственно-новой, неисследованной планеты? Миллионы раз обернулась она вокруг солнца, пока создался этот лик. Когда-то и Марс был расплавленною массою. Тонкая кора лавы застыла вокруг огненно-жидкого ядра. Эта кора утолщалась, марсотрясения заставляли ее трескаться, вулканические извержения образовывали раны, точившие огненную кровь. Сотни тысяч марсо-годов, вдвое более долгих, чем земные годы, сглаживали, обтачивали, стягивали и зарубцовывали кору планеты.

Поистине, это был древний лик Сибиллы, выявлявший свои черты все ясней и ясней, подергиваясь подобием дрожащей улыбки. Какие глаза встретят там взгляды земных пришельцев, какие уста дохнут

им навстречу, какие силы схватят, обнимут их, когда они упадут прямо в объятья нового мира, где все их понятия и весь их опыт окажутся бессильными, а сами они уподобятся несмышленным младенцам, впервые учащимся стоять и ходить?..

Бурное нетерпение овладело всеми. Их опьяняло это зрелище; самая атмосфера вокруг них как-будто менялась. Хотя термометры, барометры, гигрометры и прочие измерительные приборы давали нормальные показания, у всех было такое чувство, будто земные условия уже не годились для них больше, ибо они уже подпали под влияние новых планетных сил. Кровь сильнее приливала к сердцу и отливала от него, дыхание учащалось, созерцание этого светящегося красного мира, спроектированного перед ними на бумаге, зажигало в мозгу своеобразную лихорадку ожидания; то-и-дело приходилось отворачиваться, закрывать глаза и отирать со лба капли пота.

Никто не думал ни о времени, ни о сне. Сменившиеся с вахты принуждали себя к отдыху силою, но не долго выдерживали, быстро вскакивали вновь и торопились отдаться заманчивым наблюдениям. Они были уже всецело поглощены Марсом, томились неведомыми желаниями, пронизывались магическою «аурой» нового фантастического мира, лежавшего под ними и ожидавшего их неизбежного падения, чтобы поглотить их. Они напоминали беспомощных мотыльков, подхваченных среди ночи горячим дыха-

нием вулкана и втягиваемых в раскаленное жерло кратера, который затем вновь выдохнет их в виде мертвых белых порошинок.

Лишь теперь они ясно сознали весь адский ужас своего положения: они бесповоротно во власти всесокрушающей судьбы; они повисли над бездной, как приговоренные к повешению; повисли над зияющею пустотою; головы их уже окутаны черным капюшоном мрака... Жуткое ощущение собственного падения пронизывало их насквозь. Каким богам оставалось теперь молиться? Они сами ведь бросились в объятья опасности. Чья рука удержит мотылька на краю кратера и бережно отнесет в безопасное место?..

В глубине их душ копошился еще религиозный страх, складывающийся из чувства беспомощности, упования на чудодейственную силу, веры в сверхъестественное; раздавалась немая мольба червяка к провидению о ниспослании ему спасительной тени, когда он, извиваясь, ползет под палящим солнцем по непроницаемой каменной мостовой.

Но какой прок от всех земных представлений о боге и провидении здесь, на пороге неотвратимой судьбы, в бездну которой они бросились добровольно?

К какому святому следовало прибегнуть Эрколэ Сабенэ в этот горький час? Он был отделен от своих земных заступников тысячами тысяч миль. Где искать их алтари среди этой всеобъемлющей небесной

пустыни? Что значили все эти герои-мученики и чудотворцы здесь, в пустом, всепожирающем мировом пространстве?—Не больше, чем земные игрушки, кумиры, украшенные мишурой и созданные теми и для тех, чьей религиозности хватало лишь от молитвенной скамьи до алтаря, убранного фольгой и восковыми свечами. Что было делать святым *здесь*, где их родина-Земля являлась лишь песчинкой, затерявшейся среди мириад ей подобных?..

Дрожь пронизала Эрколэ Сабенэ. Не кощунством ли было тянуть за собой мадонну в этот вечный мрак? Какое значение имел ее венчик или кукольный младенец на ее руках здесь, в этом бездонном мраке, где мириады светил вечно двигались по своим орбитам, никогда не встречаясь?.. Вставал перед Эрколэ Сабенэ вопрос и еще более страшный: не был ли и «спаситель мира» лишь земным спасителем, порождением земных условий и потребностей, предназначенным для спасения лишь обитателей Земли, погрязших во грехах и пороках? Или он совершил свою миссию и в том новом мире, к которому приближался «Космополис»? Встретит ли Эрколэ и тут христа? Найдет ли храмы, где молятся христу, увидит ли кусочки креста, на котором он был распят, могилу, из которой он восстал по воскресении?..

Эрколэ дрожал, задавая себе эти вопросы, — червь сомнения точил его сердце. Разве не гораздо правдоподобнее предположить, что планета, к кото-

рой они приближались, жила своею собственною, совершенно изолированною жизнью, ничем не похожею на жизнь Земли? Что у нее была своя особая история развития, и она являлась родиной совершенно иных существ, иных форм жизни, совершенно не похожих на земные? Не прискорбный ли плагиат со стороны ограниченных земных умов населять Марс копиями и подобиями существ, обитающих на маленькой Земле, которая является лишь незначительным и окраинным домишкой в огромном звездном городе?.. Свой Ватикан, свой папа и своя святая католическая церковь на Марсе?! Свой народ Израиль, свой Иерусалим, своя Голгофа?!.. Вздор!..

Скоро однако Эрколэ охватил такой же могучий экстаз, как всех остальных, окончательно изгнав из его души насмешника. Он перестал спорить с самим собою и с неизведанным благоговением смотрел на встречу грядущему. В нем готово было родиться новое, более мощное сознание. Все представления, связанные с давно оставленною «Небесным кораблем» позади Землею, как-то разом измельчали. Он смотрел назад словно в перевернутый бинокль и видел, что борьба великих держав за воображаемое «мировое господство», все иллюзии людей относительно «мирового» значения Земли, классовая борьба, капитализм, «мировая война», уничтожившая миллионы человеческих существ, все катастрофы и судорожная вечная борьба всех и каждого за существо-

вание—т. е. в сущности за удовлетворение чисто животных влечений и потребностей, за то, чтобы набить желудок дорогой пищей, да овладеть самыми нарядными женщинами, — жажда власти, власти и власти—*все* в конце концов сводилось к деньгам. Вот универсальное средство выражения всех земных стремлений: все наслаждения, вся красота и все благородные ценности на вес желтого металла, золота!

Каким далеким и безразличным стало теперь все это! Там высоко, на сумрачной планете, кишели звероподобные люди, насквозь пропитанные экономическим материализмом, увязнувшие в тине временного благополучия, но бредившие вечностью и бессмертием, хотя и вечности и бессмертия они желали лишь в смысле сохранения своего житейского благополучия, возможности предаваться своим страстям и наслаждениям, ради которых они жили. Они не могли представить себе «счастье» иначе, как тесно связанное с земными благами, семейным очагом, властью и влиянием. Люди общества и государства боролись все за одни и те же эгоцентрические интересы во имя семейного благополучия, национального процветания, любви к родине, были связаны себялюбием, расовой гордостью, самовозвеличением, властолюбием.

Только теперь Эрколэ понял основной принцип космических устремлений Аванти, понял «центробежное» начало в полете «Космополиса»: прочь от узости земных представлений, готовой привести

человечество к вавилонскому хаосу наций и национальностей. Все на земле были одинаковыми себялюбцами и захватчиками, все боролись за то или иное «священное» право свое, если не за какое другое, то за основанное на давности, на борьбе предков, на пролитой крови, якобы вопиющей из праха и требующей возврата такой-то территории. Все они вопили о праве на самоопределение, подразумевая под этим пересмотр существующего порядка вещей в целях возвращения им утраченных земель. Все желали расширения своих границ за счет врага. Завоеваний! Завоеваний! Силою оружия или по праву народному, но завоеваний!..

«Космополис» плыл не под флагом завоеваний, не стремился к покорению новых миров. Он стремился только побить рекорд космического полета; открыть новые, *не* земные, горизонты, новые пути, перспективы и надежды взамен изнурительной самоистребительной борьбы, начатой людьми на Земле в силу взаимной боязни народов, взаимной их зависти, соперничества за власть, за отвоевание себе «места под солнцем», и ставшей самою свирепою, неумолимою грызней хищных зверей, которая превратила мирные нивы в кровавые братские могилы.

Стоя обнаженным под солнечным душем, Эрколэ горел желанием облечься в совсем иные одежды, каких не знали еще на Земле; ему не хотелось надевать своей пыльной военной куртки, пропитанной

запахом окопов, земляною сыростью, пороховым дымом и газами. Он мечтал о космическом облачении, омытом в звездной купели, окрашенном цветами планеты, которую они собирались посетить.

Ему хотелось отрешиться от всего, что напоминало о Земле. И, проходя мимо люка широкой отводной трубы, через которую силою сжатого воздуха выбрасывалось за борт «Космополиса» все ненужное, он почувствовал непреодолимую потребность очистить свое существо от всего, что еще отзывалось Землей, от всех земных воспоминаний, от всякой земной грязи.

И он кинул в эту клоаку последние знаки своего воинского звания: патронташ, револьверную кобуру, даже свой форменный пояс, а вместе с тем и последнее воспоминание о земных женщинах—крохотную изящно-изогнутую туфельку Маризы, этот своего рода ритмический слепок с ее прекрасной ножки!

Он прислушался к последовавшему затем легкому звуку, словно от вылетевшей пробки, и с минуту думал о фантастической судьбе башмачка прекрасной Маризы, осужденного теперь вечно танцовать в небесном пространстве неразрешимою ритмическою загадкой.

XVII

Атмосфера Марса.

Каждую свободную минуту члены команды «Космополиса» проводили, склонясь над все увеличивавшимся изображением Красной планеты. Это зрелище держало их в каком-то трансе. Они словно наклонялись над горячей жаровней, из которой исходили дурманящие волшебные ароматы.

Один Аванти утилизировал получаемые зрительные впечатления, тщательно отмечал все происходившие изменения и заранее вычислял предстоящие. «Космополис» приближался к цели с все возраставшей быстротой. Скоро они погрузятся в атмосферу Марса и наверняка погибнут, если падение грозит им сильнейшим ударом о твердую поверхность.

Удаление от Солнца было несомненным. Наблюдая сквозь толстые темные очки, Эрколэ видел сильно уменьшившийся в диаметре солнечный диск, убавившийся почти на треть в сравнении с наблюдаемым с Земли. Но сила его лучей, повидимому, не особенно ослабела, если судить по измерительным приборам и по работе солнечных моторов, которые действовали вполне удовлетворительно. Только самый свет казался нежнее, мягче, и жар уже не так обжигал кожу. Приходилось во всяком случае готовиться к тому, что на самой поверхности Марса темпера-

тура будет значительно ниже земной, и, если спуск обойдется благополучно, земным гостям придется поселиться на экваторе, чтобы не страдать от холода: вращаясь вместе с Марсом, они уже лишены будут возможности черпать тепло от незаходящего Солнца.

Для смягчения силы падения и во избежание воспламенения «Космополиса» при стремительном прохождении через атмосферу Марса, Аванти распорядился постепенно ослаблять напряжение тока марсового радиоспектра. Для снижения «Небесного корабля» им было достаточно обычной силы притяжения Марса. Но собственная тяжесть «Космополиса» могла сыграть роковую роль при спуске, если он произойдет слишком круто, по отвесной линии; надо было попытаться соскользнуть как бы по наклонной плоскости, по образцу аэропланов.

Перископы дали Аванти возможность усмотреть двух спутников Марса. Они были невелики и светились слабо. Добыв с помощью радиоспектроскопов их спектры и включив их токи, Аванти надеялся использовать силу притяжения этих двух спутников, заставить их сыграть роль двух балансирующих крыльев аэроплана.

Убавив таким образом скорость, «Космополис» продолжал приближаться к Марсу, диск которого уже заходил за края проекционной плоскости.

Все стальные щиты, по возможности, были сдвинуты в стороны, чтобы освободить внутренние сте-

клянные стенки шара для наблюдения звездного мирового пространства во все стороны. Между горящими на черном фоне мрака точками звезд с неуклюжею медлительностью двигались две бледные луны Марса, каждая со своей стороны, а самый Марс бросал снизу красноватый отблеск на выпуклые стекла «Космополиса», зажигая в них опаловые переливы.

И вот произошло чудо...

Красноватый отблеск стал постепенно переходить в более золотистые тона. Планета как-будто меняла окраску. Румянец ее бледнел, выцветал... И все яснее и яснее проступал морщинистый лик Марса, освобождаясь от розовой вуали... Аванти, глядевший вверх, вдруг простер обе руки вперед и крикнул:

— Глядите!

И все увидели, как темное пространство над ними стало заволакиваться словно туманом, в котором играли голубоватые переливы северного сияния... Миг—и все исчезло. Зато сверху заструился в «Космополис» и как бы залил его ровный, таинственный, голубоватый полусвет. Сквозь боковые стекла виднелись звезды, сверкавшие подобно брильянтам и «мигавшие» совершенно по-земному.

Никто не проронил ни слова. Все стояли, едва осмеливаясь дышать, глядя, как на темно-синем фоне зажигались и угасали, вставали и заходили звезды.

Люди почувствовали перемену, только когда она совершилась.

— Мы в атмосфере Марса!—прошептал Аванти.— Видите «небо» вокруг нас? Это небо Марса!

Все поспешили в верхнее помещение, где их ослепил дивный темно-синий небесный купол, нависший над «Космополисом». Догорали последние звезды, готовые угаснуть. «Космополис» погружался в атмосферу Марса, словно в тихие голубые воды бездонного океана. Чудилось даже, что они мерно колышут корабль.

Наиболее разительна была перемена в Солнечной камере. Солнце, как бы соскользнувшее со своего привычного места в пространстве, сдвинувшееся вниз и в сторону, кротко сияло на атласном небе цвета синих колокольчиков.

Пониже, под «Космополисом», показались серебристые полоски облаков. Стеклянные стенки корабля запотели. Воздух Марса запечатлевал на щеках вновь прибывших гостей свои мокрые поцелуи! Очевидно, он был холоднее и влажнее внутреннего воздуха в корабле.

Обе луны тоже побледнели. Они висели, каждая по свою сторону Марса, подобно паре потухающих фонарей. Закрыв спектр Марса и паря на спектрах обеих лун, как на планирующих крыльях, «Космополис» скользил в разреженном воздухе, как погружающаяся на морское дно медуза. Не буря несла его, а усиленный ток одного из спектров помогал

ему снижаться ровным, косым полетом на поверхность Марса. Все-таки спуск происходил слишком быстро, чтобы можно было уловить все подробности пути. Но инстинкт подсказал Аванти, что они, по всей вероятности, вовлечены в экваториальную зону, несутся над обширными, желтыми пустынеподобными пространствами, в направлении как-раз противоположном солнцу, которое закатывалось с необычайной быстротой.

Странное, сверкающее пурпуром сияние начало вспыхивать в воздухе; вечерняя заря оказывалась здесь ярче, нежели на Земле. Словно кровавые волны одна за другой набегали на лик Марса, заволакивавшийся в то же время фиолетовыми тенями, которые пронизывались искрами света не то отраженного, не то искусственного.

Когда солнце зашло, над головами наблюдателей сомкнулся бирюзовый свод со знакомыми звездами, но такой прозрачный и сверкающий, словно был целиком высечен из драгоценного, прозрачного камня. Две маленькие луны, которым земные астрономы дали имена «Страха» и «Ужаса», торопливо скользили по своим орбитам. Одна склонялась к горизонту, словно красноватый буек, а другая золотистым топазом поднималась над Марсом, обдавая золотыми брызгами света его фиолетовую вуаль, сгущавшуюся во мрак. Планета как-будто окутывалась черным покрывалом, усыпанным мелкими блестками.

Никто не ожидал такого быстрого наступления ночи, скрывшей загадки, навстречу которым несся «Космополис». Спустится ли он в море или в пропасть? Разобьются они о водную или о твердую поверхность? Им предстояло быть готовыми к самым невероятным и ужасным случайностям, каких не могла измыслить самая необузданная фантазия. Пока было большим успокоением, что «Космополис» с легкостью мыльного пузыря летел наискось вниз в тихо-дремлющей атмосфере. Тени волновались под ним, не приближаясь к нему.

Когда вторая луна закатилась, курс корабля стал направляться лишь одною, но она стояла так низко над горизонтом, что слабый ток ее спектра буксировал «Космополис» на очень недалеком расстоянии от поверхности Марса.

Вся команда напряженно, затаив дыхание, стояла на наблюдательных постах в своем потухшем шаре. Никто не знал, когда ждать столкновения. Время от времени темноту прорезывал какой-то луч света. Что это? Отражения лунного света или световые сигналы, подаваемые живыми существами? Иногда шар летел над поверхностями, светившимися фосфорическим блеском, напоминавшим свечение вод. Ожидание обострило чуткость, и все слышали, когда чья-нибудь пересохшая гортань глотала страх. Все молчали и стояли, как неподвижные созерцающие призраки, заключенные в тихо скользящем мыльном пузыре.

Аванти увлек за собой Крафта в синеватый мрак.

В руках у него был какой-то странный предмет, и он приблизил к лицу друга свою словно выросшую, распухшую голову в огромном воздушном шлеме водолаза.

— Александр, — прошептал он, приподняв шлем над губами, — нам предстоит сделать первый и, может быть, последний шаг к разгадке тайн Марса. Если мы не сможем дышать здесь, нам придется немедленно повернуть обратно на нашу родную планету. Взгляни! Она все еще там на месте и манит нас домой.

— А ты не забыл, — хриплым басом, серьезно, спросил Крафт, — ты не забыл, что обратный путь будет вдвое и даже втрое длиннее? Хватит ли у нас сил и запасов?

— Если нельзя будет остаться здесь, мы этою же ночью пустимся в обратный путь к матери-Земле и упадем на нее, хотя бы мертвыми. Помоги мне пройти к нашему единственному выходу.

— Я пойду с тобой, — сказал Крафт.

— Этим ты мне не поможешь. Ты должен остаться внутри и держать обвязанный вокруг моего тела, пропущенный в дверь, канат. Выйдя в промежуточное помещение, я открою наружную дверь, высуну голову и, приподняв шлем, испытаю атмосферу. Если она не поддерживает дыхания, я немедленно плотно надвину шлем и потяну за канат. Окажись я уже не

в силах захлопнуть наружную дверь, ты выйдешь и сделаешь это. Вот тебе шлем.

Оба они стояли перед герметически закрытою промежуточною каютой, отделявшею внутренность корабля от наружного выхода. Аванти достал ключ и отпер ведущую туда дверцу. Затем без колебаний вышел и затворил ее за собою. Крафт ощупал конец каната, пропущенный в дверь, сквозь узкое, круглое отверстие, с которого был теперь сдвинут клапан, и, надев шлем, обеими руками судорожно вцепился в канат. Шлем изолировал его уши, но ему показалось, что он слышал, как отворилась наружная дверь. Он считал секунды, словно капли жизни и смерти. Сердце его стучало, жилы на шее вздулись от напора крови под давлением шлема.

Секунды шли, а канат не шевелился. Зато дверь как-будто затрепетала. Он с силой натянул канат, но безрезультатно. Тогда он испугался, инстинктивно открыл дверцу и сам очутился в узком промежуточном помещении.

Наружная дверь стояла настежь. На смарагдовом фоне неба четко вырисовывался темный силуэт Аванти, прислонившегося к дверному косяку. В откинутом на затылок шлеме неподвижно стоял он, обратив лицо к сумеречной дали.

Ужасное предчувствие охватило Крафта. Неужели чуждая атмосфера уже отравила его друга или парализовала его? Похоже было, что он вот-вот

слетит в эту темно-зеленую зияющую небесную пропасть.

Крафт сам почувствовал головокружение. С быстротою молнии ухватил он правою рукою поясной канат Аванти, а сам с силой откинулся назад всем корпусом, чтобы не упасть. При этом у него еще хватило присутствия духа левой рукой захлопнуть у себя за спиной внутреннюю дверь, чтобы удушливый воздух не проник внутрь «Космополиса». Затем он схватился за шлем Аванти, намереваясь снова нахлобучить его на голову друга.

Но тот повернулся к нему в полуоборот лицом: глаза его сияли, словно отражая эти смарагдовые небеса, а полураскрытые губы медленно и глубоко, с наслаждением впивали воздух, как драгоценный благоухающий нектар.

— Александр, я дышу! Попробуй и ты! Сбрось шлем! Даже в Альпах не мог ты испытать такого блаженного ощущения. Этот воздух настоящий нектар для легких! Попробуй только!

Крафт, не слыша звуков из-за толстого шлема, прочел слова по движениям губ Аванти, но от волнения не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Пальцы друга освободили его от шлема.

— Александр, счастье не покинуло нас. Мы очутились не на планете ужасов, а в мире, где можно жить. Что ты испытываешь? Я пью животворный напиток из хрустальной небесной чаши — воздух,

в котором не может быть ничего вредного. Он разреженнее, чище и живительнее принесенного нами с Земли.

Крафт раздвинул свои крупные решительные губы, как для поцелуя, и зажмурил глаза, как бы для того, чтобы всем существом отдаться вдыханию свежих бальзамических струй.

Молча пил он из дивного источника жизни, струившегося из глубины зеленой ночной чаши Марса. Сердце рыдало от счастья, готово было разорваться от полноты чувств. И он, в порыве благодарности, раскрыл объятья и крепко сжал в них своего друга.

XVIII

К цели.

Когда Аванти и Крафт вернулись, наконец, к товарищам, вслед за ними хлынула в «Космополис» и новая атмосфера. Они оставили двери открытыми, и прозрачно-чистый воздух стал наполнять герметически закрытый до тех пор шар. Словно свежим ароматным дыханьем весны развеяло удушливый, искусственный чад, в котором все они жили до сих пор.

Новый воздух был не только реже и богаче кислородом, но и прохладнее. Под его живительным дуновением все словно пробудились от сна и зады-

шали часто и жадно, как полузаснувшая рыба, вдруг брошенная опять в водную стихию. Они глотали воздух, как вино. Чувствовали себя обновленными и с просветленными лицами выжидательно столпились около своего вождя.

Аванти сиял восторгом.

— Друзья, понятно ли вам, что случилось? Красная планета обитаема. Наши надежды не обманули нас. Здешний воздух вливает в нас жизнь.

Радость, сиявшая на его лице, отражалась на лицах всех. Воздух действовал на них, как шампанское. Некоторые сравнивали его с воздухом горных высей и наделяли его самыми разнообразными эпитетами.

Конец всем тайным и явным страхам! Сердца забились с новой силой. Все заботы и злые предчувствия были забыты. Каждый почувствовал себя способным противостоять всяким грядущим опасностям. Все рвались в новый мир, готовы были прямо прыгнуть через борт, чтобы поскорее очутиться на берегу.

Аванти вернул их к действительности. Он указал на маленькую заходящую луну, становившуюся все краснее и теперь находившуюся на самом краю горизонта, словно готовый нырнуть в воду светящийся буек.

— Убрать перископы!—скомандовал Аванти.—И выключить ток! В ту минуту, как луна зайдет, мы

«сядем». Молитесь теперь всему доброму, что живет в вашей душе, чтобы нам не разбиться о риф.

Он был прав. В ту минуту, как исчез последний луч луны, «Космополис» сел. Судорожно содрогнулся и глухо заскрежетал корпус корабля. Задребезжали все его стальные и стеклянные части, затрещали все швы.

Все в паническом страхе искали точки опоры; кто упал на колени, кто растянулся пластом на месте, где стоял. Крафт уцепился за штатив подзорной трубы. Аванти широко расставил ноги, словно на зыбкой палубе. Большинство ожидало, что «Космополис» расколется, треснет или взорвется.

Но все обошлось без видимых повреждений! Ничего не упало, ничто не расшаталось. Ядро «остановилось»—на суше или в воде было пока неизвестно.

Стало заметно темнее, хотя никто не мог понять причины. Аванти в сопровождении Крафта поспешил к выходу, чтобы захлопнуть наружную дверь в случае, если они упали в воду. Но в отверстие двери попрежнему глядело смарагдовое небо, только темнее прежнего. Аванти подошел к порогу и высунул голову.

Нет, это не вода внизу, на глубине нескольких саженей, а широкая желтоватая поверхность, на которой не заметно ни признака движения. Вглядевшись пристально, он различил в тусклой мгле отдельные искры, словно крупинки инея во мраке зимней

ночи. Для инея однако температура была слишком высока. Скорее же это были блестки слюды на почве Марса.

Аванти преодолел искушение сразу спуститься на эту новую почву. Чересчур это было опасно: кто знает, какие неведомые земным мозгам тайны и западни скрывались под покровом мрака? Следовало дождаться рассвета прежде чем отважиться на исследование новой «terra incognita», погруженной в беззвучный покой.

Аванти тщательно запер дверь и созвал товарищей в камеру Земли, которая тоже не имела другого освещения, кроме отблеска прозрачного, темно-зеленого неба и сияния звезд.

Под этим светящимся звездным куполом, навевавшим воспоминания о земной весенней ночи, все почувствовали какое-то успокоение, как-будто вошли в надежную гавань после долгого, полного ужасов плавания по мраку вселенной. Воздух Марса вдохнул в них новую бодрость, новые надежды. Все моторы были остановлены. Стало тихо, как в опочивальне. И Аванти в первый раз снова угостил всех кианти.

Товарищи подняли стаканы кверху, и звездный блеск заиграл в рубиновой влаге.

Аванти заговорил тихо и задушевно:

— Друзья! Товарищи! Братья! Мы стоим у порога нашей цели. Никто не знает, что скрыто за ним. Быть может, ужасы, превосходящие все ужасы Тар-

тара, измышленные земною фантазией. Быть может, диковинные приключения, которых не постичь нашим чувствам. Мы знаем только то, что впредь каждый шаг наш будет приводить нас к неожиданностям, какие нам, пожалуй, и во сне не снились. Теперь скоро конец гаданьям. Мы сами переживем все то, о чем земные умы так много сочиняли. Покров тьмы еще скрывает от нас арену, на которую мы скоро отважимся ступить. Единственное, что нам пока известно, это—что воздух здесь живительный. Значит, здесь *возможны те же* формы жизни, что у нас на Земле. Этот воздух обусловливает и возможность существования здесь живых одухотворенных организмов, функции которых доступны нашему пониманию. Но ничья фантазия не в силах предугадать самые формы, какими в действительности встретит нас здесь жизнь. Пока-что́ рискованное предприятие наше увенчалось успехом, хотя бы в том смысле, что мы не разбились, как это могло бы случиться. Наше прибытие сюда приносит честь не только нашей маленькой Земле и ее населению, но и тому духу, который объемлет и проникает всю вселенную. Он должен господствовать и здесь. Пусть наша попытка завязать межпланетные сношения лично нам принесет гибель, — все же мы останемся пионерами бессмертных устремлений. Пусть нам суждено умереть,— мы приветствуем дух Космоса с новой планеты! Он должен царствовать и здесь. И здесь мы найдем его

во всем живущем. Я не боюсь сложить свои кости на Марсе, потому что вслед за мной прибудут сюда другие и предадут мой прах погребению. Мы пришли в новый мир не как завоеватели и стяжатели. Мы не собираемся присоединять новую страну к какому-либо государству. Не собираемся истреблять те или иные жизненные формы или расы. Не собираемся грабить здесь золото или другие ценности. Поэтому с нами нет оружия. Духовные вожди не идут в поход с огнем и мечом. Мы ступим за борт нашего корабля вооруженные лишь нашими пятью чувствами да пылом естествоиспытателей. Что защитит нас от нападений чудовищ, хищных зверей, ядовитых гадов? Нас всего тринадцать против целой планеты! С рассветом новый мир либо уничтожит нас, как враг, либо примет с родственным приветом. А пока подкрепимся недолгим сном, быть может, последним в нашей жизни. Мы снова можем уснуть в условиях планетной ночи, почти такой же продолжительности, как земная. Окружающее безмолвие сулит нам невозмутимый покой. Через несколько часов мы увидим восход солнца на Марсе. Невообразимые видения предстанут нам, наполнят нас надеждой или ослепят, уничтожат. Давайте же рука об руку мужественно пойдем навстречу жизни или смерти! Покойной ночи! Да хранит нас рок!

XIX

Летуны Марса.

На «Космополисе» смолкли все звуки. Каждый остался наедине с собою. Аванти не спалось. Он лег, не раздеваясь, и скоро вновь поднялся—его томило непреодолимое желание узнать, что будет дальше. По темным переходам прокрался он к заповедной двери, разделявшей два мира. Воздух снова казался удушливым и спертым в герметически закупоренном шаре. Из всех помещений веяло сонным дыханием. Он один стоял в преддверии нового мира. Бесшумно отпер он обе двери и присел на пороге, свесив ноги вниз.

Снова легкия его стали упиваться чистым и приятным, как игристое вино, воздухом. Один прыжок—и нога его ступит на неведомую почву. Но он не мог точно определить расстояние, отделявшее дверной порог от поверхности Марса. Кругом стояла полная тишина. Он сидел в зеленом сумраке, словно замуравленное в сгустке янтарной смолы насекомое. Взгляд его всюду натыкался на тени, которых он не мог исследовать.

Под ним, на изжелта-темной неопределенной поверхности, поблескивала при свете звезд слюда. Время от времени в вышине над нею порхали какие-то темные пятна; как живые, чертили зигзаги в воздухе

и напоминали своим ломаным полетом летучих мышей.

Аванти спрятался в дверном углублении и, не двигаясь, исподтишка, наблюдал за ними. Порханье стало слышным, один из маленьких летунов приблизился, и на одну минуту Аванти почудился силуэт распяленной летательной перепонки.

Глаза его увлажнились при этом первом летучем знаке жизни на чуждой планете. Он был до глубины души взволнован видом этого маленького ночного созданьица, одиноко порхавшего вокруг залетного гостя. Большой закрытый шар, повидимому, привлекал к себе внимание этих молчаливых летунов. Да, вокруг порхала жизнь; и здесь приветствовала его, земного дезертира, единая, всеобъемлющая жизнь, подчиненная всеобщим законам и выражавшаяся в доступных его чувствам формах, хотя эти маленькие летуны и были как-будто совершенно непохожи на все известные ему породы животных на Земле. Видом они скорее всего напоминали летающих ящериц, а полетом — летучих мышей. И самое порханье их производило на Аванти впечатление доверчивой ласки, от которой он странным образом чувствовал себя здесь, как дома.

Он не мог дольше удерживаться от искушения немедленно отправиться в экскурсию по этой стране чудес; спустил веревочную лестницу и начал сам спускаться по ней с какой-то необычайной легкостью,

лишь слегка придерживаясь за канат, словно тело его ничего не весило. И не успел опомниться как подошвы его коснулись твердой почвы, он встал на ноги. Ему показалось, что почва упруга, как трамплин, и он невольно подпрыгнул несколько раз, ощущая при этом все ту же необычайную легкость всех движений, впервые наслаждаясь ощущением облегченной на одну треть тяжести своего тела.

Но он поборол искушение отдаться бегу и прыжкам. Он остановился и нагнулся. Сначала он намеревался было поцеловать почву Марса, но потом удовольствовался тем, что набрал полную пригоршню крупного гравия с блестками слюды. Гравий тоже был легкий, не тяжелее опилок. Аванти задумчиво пересыпал с ладони на ладонь этот песок пустыни... Пустыни?

Неужели вся планета представляет собою мертвую, выжженную солнцем, лишенную растительности пустыню? Нет, маленькие летуны, порхавшие над ним, доказывали, что жизнь и тут дробилась на бесчисленные формы. Они, повидимому, охотились на насекомоядную мелюзгу, а насекомых нельзя себе представить без растений.

Аванти бросился ничком и глубоко запустил руки в рыхлый гравий, казавшийся при звездном свете смешанным с золотом. Вдруг он увидел что-то ползущее. Это был большой жук, такой жесткий, словно высеченный из твердого камня, и похожий на

навозного жука. Невольно вспомнилась африканская пустыня Триполи с ее навозными жуками. Аванти схватил жесткокрылое насекомое и, посадив себе на ладонь, поцеловал его холодный щиток с радостною мыслью: «И здесь жизнь!» Затем поднял барахтающегося жука к небу, по направлению к большой звезде, светившей, не мигая, и прошептал:

— Слава тебе, мать-Земля! Первый найденный мною житель Марса—египетский жук-скарабей, посвященный богу солнца! Источник жизни один!..

Полный благоговейного чувства, вызванного в нем этим немым черным жуком, уползшим снова в гравий, поднялся Аванти обратно на «Космополис» и расположился на покой у порога открытой наружной двери, так сказать, на пороге двух миров... Скоро он погрузился в дремоту, забылся, убаюканный волнами трепетных ощущений и смутных предчувствий, плещущих о берег неведомого, то влекущий к себе, то отпугивающий берег.

Другим тоже не спалось. Они лежали навзничь в каком-то лихорадочном возбуждении, переживая попеременно то смертельный страх, то головокружительный экстаз. Правда, они уверились в том, что атмосферою Марса можно дышать, но что это значило в сравнении с ужасающими сомнениями и неуверенностью во всем прочем? С восходом солнца они станут лицом к лицу с неумолимым роком, глянут в лицо собственной неизбежной гибели, подобно

Одиссею и его спутникам, попавшим в пещеру циклопа. Какие бы формы жизни ни встретились здесь, они, без сомнения, окажутся и враждебными и непостижимыми. Целая вооруженная планета против дюжины безоружных!.. Здесь, может быть, ждут их ядовитые газы... живые существа, внушающие ужас одним своим видом... убийственные ползучие растения... образы и формы, каких не создавала ничья земная фантазия. Может статься, им грозило исчезнуть всем сразу, без следа. Никогда еще люди не находили себе более безвестной могилы, какая, может быть, ожидает их здесь!..

Но вот забрезжил рассвет. Зеленоватое сияние неба померкло. Молочно-белый свет разлился внутри корабля. Крафт казался самому себе каким-то клещом, присосавшимся к огромному рыбьему глазу, пока разыскивал Аванти, которого нашел, наконец, перед открытой дверью. Положив руку на плечо спящего друга, он невольно подумал: «Так будят до восхода солнца приговоренного к смерти».

Но Аванти вскочил улыбающийся и бодрый:

— Доброе утро, Александр! Как чудно хорошо вновь встретить утро, не правда ли?

— Вероятно, наше последнее утро, Аванти.

Аванти улыбнулся:

— Разве ты не должен жить ради своей невесты?

Великан грустно усмехнулся.

— Без сомнения, Корону я уже не увижу никогда в жизни. Когда же умру, душа моя полетит к ней обратно. Ведь нас разделяет какая-то сотня миллионов километров, не правда ли?

Аванти больше не слушал его. Ему нужно было заняться «Небесным кораблем». Дверь стояла открытой. Веревочная лестница была опять спущена вниз, и слышно было, как она коснулась твердой поверхности. Поднять ли теперь флаг? Тут было достаточное количество национальностей, чтобы выкинуть настоящую радугу флагов. Но «Космополис» не будет украшать себя пестрыми тряпками! Все его пассажиры—дезертиры, изменившие родным знаменам. У Аванти имелось *свое* знамя. До сих пор он скрывал его, теперь достал: на шесте был укреплен земной глобус, увенчанный семью разноцветными звездами, с небольшим золотым солнцем в центре венка.

Не долго думая, Аванти спустился вниз и воткнул свое знамя в почву Марса. Кругом не видно было ничего, кроме пустыни. Шар «Космополиса» глубоко вдавился в гравий. Аванти поспешил снова наверх и сообщил, что солнце следует искать на противоположной стороне от наружной двери.

За неимением окон открывать было нечего, но сквозь толстые стеклянные линзы можно было наблюдать зарю на Марсе. Небо вдруг разом окрасилось в цвет рубина. И не только в том месте, где ожидалось появление солнца: пурпурное сияние, вспыхнув

в одной точке, всером раскидывалось по всему небу, выбрасывая пламенные вихри, похожие на сполохи, и весь свод небесный до самого зенита полыхал огнем.

На небе не было ни облачка. Но на горизонте выступали туманные зубцы, похожие на синеющие вдали горные хребты. Первый луч восходящего солнца образовал как бы золотую трещину в пурпуре неба, и оттуда, словно из огненного фонтана, брызнул другой, третий... целый сноп лучей. Когда же, наконец, показался весь ослепительный диск солнца целиком, небо сразу озолотилось, стало огромным оранжевым куполом, на котором мигом погасли последние искры пурпура.

Все, как зачарованные, не могли оторвать глаз от этой яркой и вместе с тем нежной игры света.

— Что это за звуки?—спросил Аванти, не веря своим ушам. Но и все остальные услыхали то же самое: звучал как-будто самый небесный свод, звенел, подобно хрустальному сосуду, о край которого ударили другим хрусталем. Или это солнечный свет заставлял металлические части круглой оболочки «Космополиса» вибрировать подобно камертону?

Звуки не стихали, но то ослабевали, то вновь усиливались. Звуковые волны вливались в открытую наружную дверь, будто где-то вдали звонко и однообразно звучал гонг.

При свете солнца перед глазами земных гостей развернулся широкий вид. Да, они упали среди

пустыни. Изжелта-белый сверкающий песок волнистыми грядками уходил вдаль, сливаясь с горизонтом. Но теперь синеватые хребты изменили свою окраску,— темно-зеленой каймой обрамляли песчаное море. По-видимому, это были не горные вершины, но обширные древесные насаждения — леса.

И вдруг от этой далекой темно-зеленой рамки как-будто отделились какие-то лоскутья. Не облачные, а темные, плотные, медленно двигавшиеся параллельно поверхности Марса, на небольшой высоте. На мгновение Аванти принял их за флотилию аэропланов. Но в тихом воздухе нельзя было уловить ни малейшего шума моторов. Пришлось со смехом откинуть свои глупые земные предположения. Флотилия воздушных лоскутьев между тем медленно, бесшумно приближалась, дробясь на более мелкие клочья. Нельзя было ошибиться относительно цели их полета. Они слетались со всех сторон к «Космополису», но для аэропланов двигались слишком медленно.

— Они напоминают стаи гигантских птиц,— сказал Аванти, немного погодя.

Эрколэ Сабенэ с изумлением глядел в наружную дверь.

— Летательные аппараты без шума!? Движущая сила без треска взрывов!?

Скоро странные летуны приблизились настолько, что можно было различить каждого в отдельности. Они были крылаты и мерно взмахивали широко

распластанными крыльями. Туловища оканчивались веерообразным хвостом.

— Что это? Гигантские птицы?—спросил Крафт.

— Летающие ящеры,—сказал Дюмюр.

— Да, птерозавры,—подтвердил Уильямс.—Я видал подобных в Нью-Йоркском музее.

— Вы думаете?—усумнился Аванти.—Не ожидайте встретить здесь земные формы... Почем мы знаем—животные это или высшие существа? Но они нас заметили и летят прямо к нам!

Все невольно вздрогнули при этой мысли. Итак, Марс обитаем. И обитаем летающими чудовищами, которые, заметив гостей, спешат поймать их, пожалуй, как великан ловит и, не задумываясь, давит на своем теле неизвестное насекомое.

Эрколэ Сабенэ перегнулся за порог и посмотрел вниз.

— Смотрите, целая масса их бежит прямо сюда! Они похожи на гигантских страусов. Шагают по песку, как на высоких ходулях.

— Давайте, запрем двери!—крикнул Крафт.

— Невозможно! Слишком поздно!—ответил Аванти.—Вот они! Встретим свою судьбу лицом к лицу.

Аванти встал впереди всех в дверном отверстии. В лицо ему веяло ветром, словно из раздуваемых гигантских мехов, так мощно рассекали воздух крылья летунов. Затем они начали снижаться, паря на распростертых крыльях и шевеля лишь веерообразными

хвостами. Касаясь желтого песка пустыни, они складывали и хвосты и крылья, прикрывали последними опущенный хвост, как щитом, и один за другим ложились, вытягивая вперед длинные шеи и длинные клювы. Эти чудовищные ящеры были однако покрыты глянцевитым зеленоватым оперением, а не чешуей. Клювы у них были красные, словно окрашенные киноварью, и такого же цвета ободки вокруг маленьких, черных и блестящих, как бусы, глазок.

Ложась рядом друг около друга, летуны кольцом окружили стеклянное ядро «Космополиса», обратив к нему свои красные клювы, не поднятые, впрочем, угрожающе кверху, а спокойно распластанные на песке. И тут с них начали соскакивать всадники, до тех пор незаметные, благодаря своему тоже зеленому одеянью-плащу, только не из перьев, а как-будто из каких-то огромных листьев; плащи были с капюшонами, в роде шлемов.

Всадники были двуногие. И с внутренней судорогой, словно прошедшей насквозь через все тело и кости, с ужасом, как бы заглянув в окаменелый лик самой Медузы, разглядели земные гости в зеленой рамке капюшонов бледные, безбородые человеческие лица.

Первая страшная загадка Марса была разгадана Аванти и его спутниками. Как вынырнувшие из глубины их собственного беспомощного страха отражения их собственных душ, глядели на них эти лица.

Это не были ужасные чудовища или химеры, но разумные существа, отвечавшие взглядом на взгляд.

Головы кружились от нахлынувших впечатлений. Как в тумане, смотрели гости на все прибывавших двуногих хозяев, которые замыкали «Космополис» в свой круг, держась от него в расстоянии всего какого-нибудь десятка метров.

Из-под каждого зеленого плаща протянулась нагая белая рука и воткнула в песок перед собой блестевший золотом посох.

К распластанным же летунам спешили со всех сторон вприпрыжку какие-то бегуны в роде страусов. Вблизи они оказывались похожими скорее на двуногих жирафов. Животныя сгибали свои длинные ноги и становились на колени, а с их спин соскальзывали новые одетые в зеленое всадники и занимали позицию впереди коленопреклоненных животных, прислонясь спиною к их лбам.

А еще дальше, за этим вторым кольцом, весь видимый горизонт кишел человекоподобными фигурами, которые приближались поразительно быстрыми прыжками, отталкиваясь от песчаного грунта длинными белыми шестами.

Все происходило с такой ошеломляющей быстротой, что мысль не поспевала за впечатлениями. «Космополис» был окружен. Число колец все увеличивалось. Последние ряды как-будто выростали прямо из-под песку. Что, если все эти блестящие посохи

в их руках являются оружием, наделенным таинственной силою? Пока ничто не предвещало нападения. Но команда «Космополиса» стояла лицом к лицу с неумолимой судьбой. Им предстояло держать ответ. И Аванти явился их глашатаем. Но он мог объясняться лишь мимикой, надеяться лишь на выразительные жесты двух своих безоружных рук да на бесстрашный язык своих ясных, правдивых глаз.

— Оставайтесь тут!—приказал он своим спутникам.—Я пойду один.

Без колебания стал он спускаться вниз по фальрепу. Спиною к марсианам. И с намерением медленно. «Пусть хорошенько рассмотрят невиданного зверя!»—думал он.

Спустившись, он повернулся лицом к своей судьбе и оперся рукою о свое знамя.

XX

Первая встреча.

Аванти чувствовал, как впивались в него иглами со всех сторон желтоватые молнии взглядов. Они пожирали его с любопытством, в тысячу крат превосходившим его собственное. Сам он ничего не видел, до такой степени рябило у него в глазах от этих бесчисленных, сверкающих взглядов. Он зажму-

рился под этим перекрестным огнем, стараясь ободрить себя мыслью: «Это разумные существа, подобные земным людям. Прежде чем действовать, они наблюдают. Ими руководят не дикие инстинкты, но разумные соображения».

Круг перед ним разомкнулся, и навстречу ему выступило одно из существ не в лиственно-зеленом плаще, но в длинном белом одеянии, свободно облегавшем его стройную фигуру, и препоясанном шнуром шафранного цвета. На голове не было ни шлема, ни капюшона, хотя череп был совершенно оголен и лоснился.

Аванти отметил правильную и благородную форму черепа, высокий выпуклый лоб над безбровыми глазами и выражающий большую внутреннюю силу взгляд янтарных глаз. Все же это несомненно было лицо старца с мелкою сетью тончайших морщинок, с тонкими, как лезвие ножа, губами и глубокими бороздами вдоль обеих щек, от самых крыльев тонкого орлиного носа, которые все время вибрировали, как бы привыкнув постоянно путем обоняния набираться впечатлений из окружающего мира.

Аванти признавался, что ему не случалось встречать на Земле головы с такою яркою печатью ума и силы воли. Он почувствовал, как эти отливающие янтарем глаза перехватили его взгляд и словно пронизали насквозь все его существо.

За те несколько секунд, пока оба пытливо вглядывались друг в друга, протекли как-будто века. Фантазия Аванти, работавшая до сих пор наугад, обрела теперь твердую опору.

Было, разумеется, космически-логично, что на Марсе носители высшей жизненной потенции отлились в те же формы, как и на Земле. Не случайность, *а естественная необходимость создала человека*— с его гордо выпрямленным вертикально хребтом, с крупным и развитым мозгом в крепком и благородно очерченном черепе, возносящемся к небу, как фонарь на башне маяка, с голой, чувствительной, богатой нервами кожей, с обостренными чувствами и такими совершенными органами тела, как пара ловких рук, которые надо поставить на первом месте (еще Аристотель сказал, что рука наша инструмент из инструментов), пара глаз и ушей, пара ноздрей и пара легких, со всей этой цельной и выдержанной симметрией, предусматривающей контроль и резерв; создала, как венец творения, высшую форму всего органического мира, как тип победителя, покорителя планет, на которых он обитает.

С той минуты, как Аванти встретил эти ясные, проницательные старческие глаза, душа его успокоилась. Немой язык их и светившийся в них жизненный опыт были ему понятны, ручались за то, что душа старца питалась из тех же источников, что и душа Аванти; словесные формы выражения станови-

лись поэтому вопросом второстепенной важности. Что за беда, если вещи и понятия носят различные наименования, когда в основе лежат одни и те же понятия?

К удивлению своему, Аванти не услышал обращенной к нему речи на чуждом языке. Не слышно было ни воззваний, ни криков. Вокруг него не раздавалось никаких угроз, ничья рука не протягивалась схватить его. Можно было подумать, что он находится в обществе глухонемых. Все они лишь смотрели, пожирая его глазами.

И вождь их, сделав последний шаг навстречу Аванти, тоже не открыл рта, не заговорил, а стал только ощупывать гостя. Свободной рукой старец трогал его одежду, волосы и, наконец, провел по его лицу. Аванти вздрогнул от прикосновения этой маленькой, худощавой, прохладной руки, словно желавшей убедиться в добротности материала — его кожи, насколько она нежна, плотна и тепла. Аванти заметил красивую форму руки, с тонкими, мягкими кончиками пальцев и нежными, короткими ногтями, ничем уже не напоминавшими звериных когтей.

Старец обернулся на минуту к своим спутникам и сказал что-то мягким, мелодичным, почти певучим голосом. Затем он вновь обратил свой взор на Аванти. И начался своеобразный допрос, вполне понятный, не взирая на непонятные слова. Аванти отлично воспринимал фразу за фразой, читая

вопросы по глазам старца, по мимике его лица и жестам рук. Старец воткнул свой посох в песок и пустил в ход обе красноречивые руки.

— Откуда вы прибыли?—был первый вопрос на этом выразительном мимическом языке: руки описали в воздухе шарообразную форму «Космополиса» и указали на небо, принявшее теперь яркую темно-синюю окраску.—Не на крыльях,—руки изобразили медленные взмахи крыл летунов Марса,—а в стремительно несущемся по вселенной ядре!—правая рука старца сжалась в кулак, изображая летящее ядро, и быстрым движением по вертикали изобразила его отвесное падение на песок у их ног.—Откуда? Откуда?—страстно вопрошали вибрирующие пальцы.

И Аванти ответил тем же красноречивым мимическим языком. Для наглядности он воспользовался своим знаменем. Указал на солнце, затем на его миниатюрное изображение в центре венца из планет. Его пальцы двигались, указывая то на небо, то на каждую из этих планет по очереди. Затем он заставил земной глобус вращаться вокруг своей оси и показал изображенные на нем материки и океаны.

Вопрошавший перестал спрашивать и обеими руками схватил вращающийся шар, как редкую и хрупкую драгоценность. Глаза его впивались в контуры, линии и точки на глобусе, выражая удивление, изумление и снова напряженное внимание, работу мысли,

как-будто вспоминавшей что-то или убеждавшей себя самое. Раз за разом утвердительно кивал он себе головой и, наконец, подняв шест с глобусом тонкими, худыми руками, обратился к толпе с каким-то торжественно произнесенным почти нараспев словом, повидимому, именем. Аванти инстинктивно догадался, что старец провозглашал название Земли, данное ей на Марсе:

— Дальта! Дальта! Дальта!

И огромный хор подхватил:

— Дальта!

Передаваясь из уст в уста, это слово обежало все круги, первое слово, схваченное Аванти из языка марсиан—название его родной планеты.

Старец снова обернулся лицом к гостю и прижал маленький глобус сначала к своим тонким губам, а затем ко лбу. Аванти понял это, как личный ласковый привет. «Космополис» был принят дружелюбно, в нем как бы признали посла дружественной державы.

Старец обвел пальцем венец из планет и остановил палец на третьей, красного цвета, изображавшей по-земному Марс. Но при этом он повторил имя «Дальта» и указал пальцем в небесную лазурь. Аванти понял, что для *Марса Земля* была той третьей красной планетой, положение которой на небе нельзя было установить сейчас при дневном свете.

Во время допроса все двенадцать товарищей Аванти незаметно для него очутились у него за спи-

ной в качестве свидетелей. Успокоенные, они один по одному спускались по веревочной лестнице и становились позади вождя. Старец вдруг указал на них и затем перевел взгляд на выходную дверь «Космополиса»:

Еще? Это не все? — спросили его глаза.

Аванти ответил отрицательно и молча пересчитал свою команду, поочереди выдвигая каждого вперед. Старец прошел вдоль всего ряда, возлагая в виде приветствия свою правую руку на левое плечо и на грудь каждого в отдельности.

Это безмолвное знакомство было трогательно своей молчаливой простотой. У каждого жителя Земли ёкнуло сердце, когда тонкая рука марсианина коснулась его груди.

Эрколэ Сабенэ стоял в середине. Торжественная серьезность момента разбудила в его душе примитивное религиозное суеверие, и он сжал во влажной руке небольшой металлический крестик с распятием — подарок матери, когда он был еще подростком.

Когда старый марсианин остановился перед ним и коснулся рукой его груди, он вдруг инстинктивно поднес свой талисман к глазам старца. В этом опять сказалась двойственность его души, шепнувшей ему: «Испытай! Если это люди того же духовного порядка, как и мы, то *этот* символ должен быть им знаком. Спаситель мира, христос, не мог умереть ради одной только Земли. И если он воистину спаситель

мира, то святой смысл креста должен быть понятен и здесь. Испытай!»

Вот он и протянул свой крестик, как универсальный священный знак, марсианину, бывшему на голову выше него. Но во властном янтарном взоре не промелькнуло ни искры воспоминания. Старец смотрел на крестик, как на какую-нибудь редкую раковинку или другую диковинку. Пальцы с нежными, короткими ногтями ощупывали и вертели во все стороны незнакомую вещицу, затем поднесли ее к носу понюхать, и у Эрколэ угасла последняя надежда.

Никто из его спутников не сделал никакой подобной попытки. Вся жизнь сосредоточилась у них в глазах. Боязливая неуверенность, настороженность подсознания понемногу сменялись чувством спокойствия и доверия. Довольно было взглянуть в глубокие, проницательные и вместе с тем как бы просветленные глаза этого величественного старца, чтобы убедиться в том, что у него земные гости встретят величавое радушие и понимание.

Старец вновь обернулся к ожидающим толпам, схватил свой посох и поднял его высоко в воздух, произнося при этом своим звучным, мелодичным голосом какие-то слова, среди которых особенно выделялось слово «Дальта».

И вслед затем все ряды подняли кверху свои посохи или шесты, и лишь теперь Аванти с товари-

щами разглядели, что золотые посохи заканчивались наверху не острием или копьем, а голубым звездообразным цветком, больше всего напоминавшим земной василек. Произнесенное хором слово: «Дальта» сопровождало этот приветственный взмах — взлет крупных синих звезд на золотых стеблях.

Затем старец простер свой посох над головой каждого из вновь прибывших по очереди. Цветок на его посохе был крупнее, чем у других, и походил скорее всего на вполне распустившуюся махровую Викторию-Регию. Алые лепестки трепетали на солнце и распространяли сильное благоухание. И это цветочное приветствие сильнее всякого другого человеческого звука вливало спокойствие и уверенность в души гостей.

Жестом, который трудно было не понять, вождь марсиан предложил чужестранцам приблизиться к летунам, отдыхавшим на желтом песке, вытянув вперед свои красные клювы. Но Аванти указал на «Космополис» и знаками пригласил марсианина сначала посетить «дальтиан». Тот улыбкой изъявил согласие, воткнул свой посох рядом со знаменем Аванти и без колебаний стал подниматься наверх. Он отказался от поддержки протянутых к нему рук и с юношеской легкостью быстро добрался до дверей. Тут он обернулся и сказал несколько слов своим спутникам, после чего десять марсиан выступили вперед, чтобы сопровождать его.

За гостем последовали Аванти и все его товарищи, кроме Куно фон Хюльзена, который остался внизу у веревочной лестницы. Нелегко было стоять тут на страже: толпа любопытных все теснее и теснее смыкалась около упавшего с Земли шара; все трогали и ощупывали его; замечались и поползновения подвергнуть такому же освидетельствованию оставшегося внизу «дальтианина», что тому вовсе не улыбалось.

И марсиане на «Космополисе» осматривали все с живейшим интересом. Повидимому, они быстро усваивали себе устройство даже вовсе незнакомых им приборов. Аванти показал им свои солнечные моторы, остроумную систему проводников тепла и света, замечательные, бесшумно работающие машины, насосы, бак для дестилляции воды, аппараты, возобновлявшие атмосферный воздух, словом, все; и все вызывало глубокое восхищение.

Тонкие, изящные руки старца скользили по каждому предмету, словно желая ощупать его сущность, а тонкие подвижные ноздри как-будто старались вдохнуть все тайны устройства механизмов. Его спутники тоже, повидимому, отличались высокой интеллигентностью и большими познаниями, так как с живейшим интересом обсуждали между собою каждую новую вещь, очевидно, сравнивая ее с имеющимися у них. В звездных картах они разобрались сразу и водили по ним пальцами, с уверенностью знатоков

очерчивая орбиты планет солнечной системы. Не менее знакомы были им и движения Земли и даже Луны, к великой радости земных гостей, которых эта общность знаний как бы роднила с марсианами. Из той радости, с которой последние приветствовали телескоп, как старого знакомца, явствовало, что их астрономические познания были добыты с помощью подобных же оптических приборов. Назначение телескопа они сразу угадали по длинной трубе, и вождь марсиан немедленно занял наблюдательское место и прильнул сверкающим глазом к окуляру, но скоро понял, что окуляр упирается в песчаный грунт, который и мешает видеть что-либо. Перископы и радиоспектроскоп, которые можно было только частично показать в действии, возбудили особенно глубокое изумление. Марсиане, очевидно, не имели понятия ни о токе, ни о спектральном анализе, и товарищи Аванти торжествовали свое земное превосходство.

Вообще взаимное понимание людей разных планет установилось легче, чем можно было ожидать.

Трудностей возникало едва ли больше, чем при объяснениях между собой представителей двух земных наций, разговаривающих на совершенно не родственных языках. Благодаря своей феноменальной памяти, Аванти быстро усваивал названия и выражения, наиболее часто встречавшиеся в речи марсиан. Да и все скоро запомнили, что Солнце здесь называется *Дуйс*, а сама красная планета—*Раль*.

Когда они добрались до кают-компании, Аванти счел нужным угостить посетителей продуктами Земли. Он распорядился, чтобы на стол подали все, что было у них съедобного, и разлил в стаканы кианти. Марсиане брали круглые плоды и пробовали их с довольным видом, как бы узнавая знакомый вкус, а желтые апельсины вертели в руках, словно маленькие золотые солнца. Свежеоткупоренные консервы они только понюхали, попробовать же отказались с видимым отвращением. Особенно не понравились им омары и рыба.

Аванти взял один из стаканов и выпил за здоровье гостей. Старый вождь долго колебался прежде, чем последовать его примеру, но лишь омочил в вине свой беззубый рот и сморщился, словно рубиновая влага была отвратительным ядом. Зато хрустальный стакан стал рассматривать с видимым восхищением.

В эту минуту раздался треск выстрела, заставивший его выронить из рук сосуд с красным ядом.

XXI

Полет.

При звуке выстрела на лица марсиан сразу легла тень, как бы от жутких предчувствий и смутных тяжелых воспоминаний. Старец с выражением мучи-

тельной боли закрыл глаза, будто у него внезапно вскрылась старая рана, а его спутники невольно обступили его, как бы ища у него защиты.

Аванти не понимал, в чем дело. Раздавшийся треск ничуть не напоминал треска от столкновения «Космополиса» с метеоритами. Да, его ухо не могло ошибиться: резкий треск этот был вызван выстрелом. Но откуда и кто стрелял?

Он бросился к выходу, глянул вниз и увидел на веревочной лестнице фон Хюльзена с высоко поднятым дымящимся револьвером в руках. Густые толпы марсиан обступали лестницу и, глядя наверх, с глухим ропотом, угрожающе размахивали руками.

Аванти нагнулся и с негодованием вырвал револьвер из рук немца.

— С ума вы сошли? Откуда у вас это оружие?— крикнул он.

— Я вынужден был обороняться!—ответил тот.— Они напирали всей толпой и собирались лезть наверх. Мои протесты не действовали. Тогда я выстрелил в воздух, чтобы отпугнуть их.

— Этот выстрел может стоить жизни всем нам,— сказал Аванти. — Полезайте скорее наверх. Я помогу вам.

Но было уже поздно. Марсиане повисли на лестнице и ухватили фон Хюльзена за ноги. Их лица и жесты были угрожающи. Фон Хюльзен брыкался и одной рукой шарил у себя за пазухой. Не успел

Аванти опомниться и помешать ему, как он что-то выхватил и кинул вниз в толпу — ручную гранату. Она описала небольшую дугу и разорвалась с ужасающим треском.

Когда дым рассеялся, в толпе оказались жертвы. Несколько распростертых марсиан плавали в крови. И со всех сторон напирали новые толпы. Слышались жалобные вопли и крики негодования, боли, ужаса, подавляюще действовавшие на ближе стоявших. Нападавшие выпустили из своих рук фон Хюльзена, который и очутился наверху лестницы, бледный от гнева.

Старый вождь марсиан показался в дверях рядом с Аванти и, успокаивая толпу, простер вперед руку. В ответ раздались гневные восклицания. Сотни рук взволнованно указывали то на бомбометателя, то на его жертвы.

Марсианин жестом приказал фон Хюльзену спуститься. Тот не повиновался, но Аванти отрывисто и повелительно сказал:

— Идите! Вы нарушили свою клятву!..

— Чтобы спасти всех нас от гибели!..

— Нет, чтобы погубить всех нас. Вы принесли с собой оружие в мир, где оружия не знают. Теперь мы все поплатимся!..

— Так будем защищаться, пока не падет последний из нас!—ответил фон Хюльзен, сжимая кулаки.

— Глупец! — сказал Аванти, сдвинув брови. — Итак, вы тайком захватили сюда с собою смерть?

Старец в несколько минут восстановил спокойствие. Раненых осмотрели. Двое из них не подавали признаков жизни. Всем перевязали раны. Из опорных шестов бегунов соорудили носилки, которые прикрепили к спинам двух пар высоких, длинноногих страусо-жирафов. Один из марсиан, сидя верхом на передовом животном, выстроил конвой для сопровождения раненых. Бомбометателя без ожесточения, но твердою рукою подвели к одному из животных в арьергарде и знаками дали понять, чтобы он сел верхом. Когда же он отказался повиноваться, его простонапросто подняли и привязали к спине животного.

Фон Хюльзен молча покорился судьбе и только кинул в сторону Аванти взгляд мученика, когда транспорт с ранеными тронулся в путь через пустыню.

— Мы не покинем вас в беде, — утешал его Аванти. — Мы разделим с вами наказание, хотя вы один виновник.

В доказательство серьезности своих слов, он было двинулся вслед за конвоем, и все товарищи последовали его примеру, глубоко обескураженные разразившейся катастрофой. Но вождь марсиан остановил их, удержал Аванти и, указав ему на отдыхающих летунов, с тихой серьезностью дал им понять, что они должны воспользоваться этим способом передвижения. Летунов спрягли попарно цугом, на каждого переднего сел поводырь, а на спины задних приладили нечто в роде седел для жителей Земли.

Аванти колебался покинуть последнее прибежище, оставшееся ему с товарищами в чуждом мире, и сделал шаг назад к «Космополису». Старец понял его опасения и тотчас успокоил его. Он приказал своим спутникам очертить полукруг возле трапа и воткнуть в этот полукруг свои посохи после того, как сам повесил на входную дверь знамя «Космополиса» вместо замка.

Дальнейшие выражения сомнения были бы неучтивы, и Аванти обратился к своим спутникам:

— Мы должны верить им. Нам остается только повиноваться и надеяться.

Затем он сел на красноклювого летуна и, по примеру старого марсианина, ухватился за подобие поводьев—кольцо на ремне, захлестнутом вокруг длинной зеленоперой шеи. Когда все земные гости уселись позади своих проводников, им расчистили впереди место для взлета: сотни других летунов поднялись на свои короткие лапы и, не раскрывая сложенных крыльев, откровыляли в сторону. Вожак подал сигнал отрывистыми пронзительными вскриками, и двенадцать пар летунов, вскочив на когтистые лапы, распялили мощные крылья во всю ширь и распустили веером хвосты. Затем галопом пустились по песчаной равнине, все ускоряя свои упругие прыжки. Лапы их едва касались песчаной почвы и скоро совсем отделились от нее—летуны понеслись вперед, мощно и мерно взмахивая крыльями. Всадник

сидел между ними в углублении, как в пуховом гнезде, защищенный от ветра. Хвост служил не только рулем, но и вращающимся с молниеносной быстротой пропеллером.

Эрколэ оглянулся назад. «Космополис» уже почти затерялся в желтых песках пустыни. Солнце стояло высоко в небе и пламенело на выпуклых стеклах ядра. Летуны следовали друг за другом, образуя огромный караван. Они летели невысоко, так что Эрколэ мог различать все происходящее на поверхности Марса. И животные и люди двигались в одном направлении. Вон и медленно шествующий транспорт с ранеными!..

Но скоро летуны перегнали всех всадников и бегунов. Эрколэ летел над голой, желтой пустыней, сверкавшей под лучами яркого, но не жгучего полуденного солнца, близкого к зениту, что свидетельствовало о том, что они находились в экваториальной зоне. Воздух однако был свеж и прохладен. Колорит неба был гуще лазури земных небес и приближался к цвету васильковых набалдашников марсианских золотых посохов. Эрколэ ощущал радость полета, какой не испытывал ни разу на земных аэропланах. Тут он словно плыл по воздуху, бесшумно и стремительно, опьяненный ощущением несущей его живой силы, машущей крыльями и дышащей. Он несся по воздуху в колыбели из перьев.

Однообразный, пустынный ландшафт под ним начал меняться. Из песчаного моря там и сям вста-

вали странные громады. Это не могли быть скалы: среди бесформенных глыб он различал там и сям почти геометрически правильные формы, разрушенные арки, гигантские своды. Без сомнения, это были развалины колоссальных построек, одинаковой окраски с грунтом пустыни, из того же материала, как и он. Нигде ни пятна зелени. Очевидно, это были не отдельные разрушенные постройки, но остатки колоссального комплекса зданий и сооружений. Не игра природы, а следы дел рук человеческих. Жуткая дрожь пронизывала Эрколэ при мысли, что он видит руины заброшенного, разрушенного, колоссального города.

Вдруг эта удивительная пустыня с руинами пересеклась широким прямым ущельем. На дне его Эрколэ различил сверкающую, серебристую водную поверхность. Для естественной реки она была чересчур прямолинейна. Ущелье было очень широко, и вода бежала в самой глубине его. Ни судна, ни лодки, ни паруса не виднелось на ней. Глубоко врезывалась она в пустыню и терялась вдали.

Вскоре затем желтая пустыня кончилась и уступила место зеленым кудрявым массам. Это могли быть только леса. Эрколэ различал под собой густые, переплетающиеся кроны деревьев. Он раздувал ноздри, стараясь уловить и распознать их аромат, и то чудился ему смолистый запах пиний и кипарисов, то мерещились красноватые стволы древесных гигантов,

в роде веллингтоний и криптомерий, растущих в священных рощах Японии, то он улавливал пряные и влажные испарения папоротниковых и плаунцовых зарослей с их более светлой и изрезанной листвой. Ему даже чудился иногда запах Венериных волос, а временами он как-будто летел над обширнейшими нивами с гигантскими, бамбукоподобными колосьями.

С бьющимся сердцем вдыхал он все эти изменчивые ароматы. То, что было там, под ним, являлось «культурой» в самом прямом и благородном смысле слова. Всем, чего достигла его родная планета в смысле развития и благополучия материального и облагорожения духовного, обязана она тому же — агрикультуре и ее плодам. Всякое улучшение, возвышение, облагорожение человечества неразрывно связано с работой плуга, с благодатной работой возделывания почвы, насаждения растительности, посевов. Есть ли что в мире лучше нив, плодовых садов и лесов? Самое слово *рай* означает *сад*. Исчадием ада являются опустошительные силы—война, праздность, бесплодие. Как же было его душе не ликовать при виде прекрасных, роскошных, густых лесов, над которыми он пролетал! Они указывали на то, что и здесь одержала победу истинная культура. Но вот среди лесов стали попадаться большие четырехугольные просветы, словно врезанные в массу листвы. Это, очевидно, были поселения, людские колонии, разбитые прямо среди освежающей прохлады древесных

чащ. На этих квадратах уступами вздымались пирамиды различных размеров. На каждом широком уступе виднелись правильные зеленые насаждения, сады, окружавшие странные угловатые постройки. Сверху они казались похожими на пчелиные соты: к центральной шестиугольной ячейке примыкали шесть боковых, из которых одни были закрытые, другие открытые.

На самой верхней площадке пирамид такая постройка венчалась куполом, украшенным гигантским цветком той или другой окраски. Некоторые пирамиды сильно возвышались над окружающим лесом, при чем самая верхняя постройка напоминала маленький желтый форт с торчащими из амбразур пушками. Но Эрколэ тотчас же сам поправил себя: «Чепуха! Это, разумеется, обсерватории».

Летуны, управляемые подергиванием за шейное кольцо, убавили скорость, сложили веера хвостов и на распластанных крыльях бесшумно снизились в одном из четырехугольных просветов. Сидя на спине своего летуна, Эрколэ пролетел сквозь насыщенные солнцем висячие сады, струившие ему навстречу свои ароматы, и опустился прямо к подножью самого нижнего уступа пирамиды.

XXII

Город и ущелье Возмездия.

Жители Земли поняли, что находятся в центре поселения марсиан—быть может, города. Но он ничем не напоминал земных муравейников, где тысячи жителей снуют по запутанным лабиринтам улиц, между сплошными рядами огромных каменных домов-гробниц. Ни шума, ни суеты, ни стука лошадиных копыт, ни вони, ни рева автомобилей, ни громыханья трамваев, ни муравьиного суетливого, неустанного шнырянья людей взад и вперед.

Самого селения вообще не было видно. Пирамида с ее уступами утопала в зелени. Террасы сливались друг с другом: растущие на уступах высокие деревья скрывали ступени, и все сооружение производило впечатление облесенных горных склонов. Белые известняковые лестницы вели с уступа на уступ. Каждый уступ представлял целый парк, висячий сад. Из одного висячего сада попадали в другой; всюду был разлит зеленоватый полусвет, и золотые солнечные зайчики плясали по фиолетовым теням, отбрасываемым большими, широколопастными листьями деревьев.

Видно было, что эти дивные деревья выращивались опытными, искусными лесоводами при помощи

солнца и поливки. Человеческие жилища походили на хижины из листвы. Некоторые были возведены между четырьмя высокими деревьями вместо угловых столбов. И даже павильоны, напоминавшие пчелиные соты, были сплошь увиты зеленью, из-за которой лишь там и сям выглядывала плоская красная крыша, словно гигантская шляпка мухомора.

Старый вождь марсиан со свитой провели Аванти и его спутников вверх по уступам пирамиды. Все встречные почтительно приветствовали старца: останавливались, склоняли головы и простирали руки ладонями вперед.

Аванти и его товарищи шли с обнаженными головами, стараясь вглядываться в прохожих. Но всюду различали только маленькие, узкие ладони да каштановые волосы, почти у всех одного и того же рыжеватого оттенка. Аванти и Эрколэ Сабенэ оба невольно вспомнили тициановский цвет волос. Только свита вождя была одета в зеленое, а сам он в ослепительно белое, и лишь покрой платья у всех был одинаковый, в роде подпоясанной туники; цвета же—яркие и пестрые—были на каждой террасе свои, и чем выше, тем более густых, темных оттенков.

Вождь марсиан все продолжал подыматься с уступа на уступ. Ступени были пологие и широкие. Подобный тип лестниц был знаком Эрколэ Сабенэ по его родному городу, где лучшим образцом таких покойных подъемов являлась лестница «Campidoglio». На

каждой террасе в зелени сверкали всё новые, дивные, сладко пахнущие цветы и большие красноватые плоды. Воздух в этих роскошных висячих садах был тих и безмятежен; тишина нарушалась только мелодичным, серебристым журчаньем невидимых ручейков, пробивавшихся в густом мху у корней деревьев.

Наконец, добрались до седьмой и последней террасы. Посреди квадратного фруктового сада высился круглый храм из толстых гладких колонн, цветом напоминавших старый красноватый или сожженный солнцем мрамор. Но это были не искусственные колонны, а стволы живых гигантских деревьев, переплетающиеся кроны которых образовывали вверху подобие куполообразной кровли ярко-зеленого цвета. Над этим лиственным куполом выдавалась вышка из белого известняка, увенчанная прозрачною аметистовою цветочною звездою.

В храм гостей не ввели. Марсиане остановились в плодовом саду и знаками предложили гостям откушать. После долгого полета по свежему воздуху все проголодались и с благодарностью приняли предложение.

Оказалось, что они находятся в трапезной, где сама природа предлагала им обильные яства. Деревья ломились под тяжестью плодов. Старый марсианин пригнул книзу одну ветку для Аванти. Тот сорвал один из желтоватых плодов, похожих на круглые, мягкие свежеиспеченные хлебцы, и, нерешительно

закусив его зубами, удивился его приятному вкусу. Напоминая вкусом бананы, плоды эти прямо таяли во рту.

Товарищи Аванти тоже с видимым аппетитом принялись за еду. Марсиане указали им также другой сорт деревьев, повидимому, служивших для утоления жажды. Под прикрытием длинных зубчатых листьев висели маленькие цветы, похожие на бутоны белых водяных кувшинок. Приподняв их зеленую крышечку, можно было напиться из них жидкого медвяного соку. Старый марсианин научил гостей пить, не срывая цветка, который оставался на ветке, чтобы набрать новый запас сока.

Но не всем гостям питье пришлось одинаково по вкусу. Некоторые называли его сахарной водицей. Уоткинс демонстративно отплюнулся, после чего марсиане указали ему водный источник для утоления жажды. Все попробовали воду и нашли ее вкусной, слегка кисловатой. «Aqua acetosa»—отозвался о ней Эрколэ Сабенэ.

Во время этой примитивной трапезы на лоне природы Аванти не переставал вспоминать о своем несчастном товарище. Каким одиноким и покинутым должен был он себя чувствовать, прикованный к медленно движущемуся по бесконечной пустыне каравану раненых, не зная даже, с какою целью его сковали с его окровавленными жертвами. Несмотря на то, что он нарушил общую клятву и своим безум-

ным поступком подверг их всех смертельной опасности, его нельзя было оставить на произвол судьбы. Нельзя, чтобы он в одиночестве предстал перед судом марсиан! Все указывало на то, что своим злосчастным выстрелом и бомбой он совершил неслыханное здесь преступление. И кто знает, каким ужасным способом придется ему искупить свою вину?..

Аванти желал разделить с ним его судьбу и старался пояснить мудрому старцу марсианину, что они все неразрывно связаны друг с другом, подобно звеньям одной цепи. При воспоминании о преступлении, черты старца омрачились. Но Аванти с товарищами неотступно осаждали его просьбами позволить им увидеться с товарищем и разделить его судьбу. Лицо старца прояснилось, и он предложил им следовать за собой.

Началось обратное странствие с верхней террасы вниз по бесчисленным лестницам, из одного висячего сада в другой, пока они не очутились на той же открытой площадке, где снизились с ними летуны. Отсюда дорога свернула в глубь леса. Высокие древовидные папоротники заслоняли солнце. Тяжелая зеленая завеса листвы не шелохнулась. Все было тихо. Марсиане шли медленным, торжественным шагом, словно ступая по священным местам. Слышалось только потрескивание растущих побегов, которые внезапно развертывались подобно лопнувшим часовым пружинам.

Они шли по темной и твердой тропинке, заплетенной кружевом ветвей ползучих и вьющихся растений. Скоро растительность уступила место базальтовым скалам дикого сумрачного вида, и дорогу перерезало высокое, сводчатое ущелье. Здесь они нагнали транспорт страусо-жирафов, которые становились на колени, чтобы опустить носилки.

Эрколэ издалека узнал фон Хюльзена, с поникшей головой вносившего раненых в узкий проход пещеры. Никто из марсиан не помогал ему. Безжизненных и бесчувственных марсиан одного за другим сдавали ему на руки. Кровь из их ран пятнала его, так что сам он походил на смертельно раненого. При виде земляков, черты его пасмурного лица прояснились. Он остановился и отер себе лоб окровавленными ладонями. Он уже напоминал тень из мрачного Аида, осужденную на вечный сизифов труд. Аванти обнял его за плечи, словно желая поддержать, и взволнованно шепнул:

— Мы тоже пришли! Мы разделим ваше наказание!

Старый марсианин знаком выразил свое согласие, и все обитатели Земли пошли следом за преступником, несшим на руках последнюю из своих бесчувственных жертв в узкий проход между скалами.

Они ожидали, что предстанут перед каким-нибудь тайным судилищем, которое, в торжественной и мрачной обстановке, будет судить бледного преступника.

Но никакого устрашающего трибунала не видно было в просторной, сводчатой и прохладной пещере, освещавшейся сквозь расщелины в блестящем базальтовом потолке. Ясный, словно профильтрованный, свет падал прямо с неба на широкий каменный стол по середине пещеры. Весь стол и даже пол были усыпаны свеже-сорванными душистыми травами. Каждому раненому было отведено особое ложе из трав, и фон Хюльзен уже понял, в чем заключается его предварительное наказание: он обязан раздеть свои жертвы, обмыть их раны, перевязать и врачевать, как сумеет.

Бледный преступник стонал под тяжестью своей обязанности. Он не был врачом, и ему никогда раньше не приходилось заниматься таким трудным делом, как уход за ранеными. Он не знал целебных свойств разбросанных вокруг трав. Старался ощупать раны под одеянием, не умея обнажить их; неловко омывал окровавленные члены тела, прислушивался к биению сердца и в отчаянии мотал головой, когда не мог уловить его; терялся и дрожал, как осиновый лист. Аванти и другим товарищам не разрешено было помогать ему, и марсиане удерживали их каждый раз, как они выражали намерение заняться ранеными. Очевидно, злосчастный пруссак единолично должен был искупить свою вину.

Аванти вновь попытался убедить вождя марсиан, что они все отчасти виноваты в случившемся и желают сообща нести наказание. Он один умел «разго-

варивать» со старцем оживленною мимикою и взглядами, которые как бы излучали мысли. Он научился быстро читать по необыкновенно выразительному лицу старца с его строгими, точеными чертами, и так же быстро передавал товарищам то, что узнавал сам.

Преступления были большою редкостью на Марсе. Убийство являлось почти неслыханным злодеянием. И всякий проступок искупался тем, что преступник исправлял содеянное им зло. Причинивший кому-либо вред обязан был служить потерпевшему, пока не исправит или не возместит вреда. «Ущелье возмездия» было своего рода здравницею, где преступника запирали вместе с его жертвой, чтобы он лечил нанесенные им раны, до тех пор ухаживая за раненым, пока тот не выздоровеет, и они не примирятся друг с другом. Если раны оказывались смертельными, убийца сопровождал жертву в ладье смерти. Земное изречение «око за око, зуб за зуб» здесь перефразировалось в «жизнь за жизнь» и «смерть за смерть». Преступника как бы приковывали к жертве, и ему не было иного пути спасения, как постараться превратить оковы в узы дружбы и возвратить к жизни того, кого он собирался лишить ее.

В конце концов Аванти удалось все-таки убедить вождя марсиан, что все товарищи преступника считают себя неразрывно связанными с ним и единодушно желают искупить его преступление, как общую вину, как грех, занесенный ими с родной планеты,

Никто из них не желает пользоваться свободой, пока содеянное зло не будет исправлено.

Старец уважил их желание и, повидимому, даже одобрил его; с торжественною приветливостью коснулся левой стороны груди Аванти своею сухою рукой и удалился. За ним последовала вся его свита, за исключением нескольких марсиан, одетых в черное, которые остались с «дальтианами» в качестве их наставников и помощников. Начавшаяся было так блестяще новая глава их судьбы грозила оборваться в этом «Ущелье возмездия», откуда выход был—в жизнь или в объятия смерти. Вместе с русским, Новиковым, по профессии врачом, Аванти немедленно занялся осмотром всех раненых. Одни пострадали легче, другие серьезнее. Марсиане объяснили свойства и применение разных целебных трав для перевязок и компрессов, и «дальтиане» тщательно перевязали и вновь уложили всех раненых на ложа из каких-то особенных, крупных и ароматных, сухих листьев.

Одного из марсиан, раненого в легкое или в область сердца, никак не удавалось привести в чувство и сознание; он оставался холодным и недвижным. Когда извлекли глубоко врезавшийся в его тело осколок гранаты, он едва не истек кровью; рану затампонировали целебными травами, но с прекращением кровотечения больной перестал подавать и какие-либо признаки жизни. Сердце не билось, дыхания не было заметно. Он лежал, как мертвый. Фон

Хюльзен беспомощно опустил усталые руки и совсем упал духом. В его светлых остановившихся глазах блестели слезы, словно отражавшие грозившую ему горькую участь.

Аванти клялся ему, что никто не покинет его: если ему суждена смерть, то они все умрут с ним вместе. Но пруссак оставался безутешным, твердя: «Я один виноват. Оставьте меня! Поделом мне. Меня верно похоронят заживо. Мне нечего ждать больше. Чем скорее все кончится, тем лучше».

Новиков неутомимо продолжал возиться с бесчувственным марсианином. Он перепробовал все: искусственное дыхание, массаж, вливание возбуждающих отваров внутрь и раздражение слизистой оболочки носа ароматическими травами—все безуспешно. Тем не менее, он не терял надежды.

— Прежде всего не отчаиваться!—сказал он пруссаку. — Помогите мне вернуть жизнь в это мертвое тело. Согревайте его жаром вашего сердца и не пытайтесь предвосхищать ход судьбы. Жизнь есть жизнь! Борись за собственную жизнь, человек!

Медленно текли мучительные часы. Дневной свет скоро погас в этом узком ущельи. Аванти потребовал освещения, но марсиане, повидимому, не поняли его. Они указывали на расщелину в своде пещеры и махали руками, словно изображая, как струится сверху и свет и мрак. Лазоревый просвет уступал место зеленоватому сумраку, который был уже знаком

земным гостям. От мерцающих в небе звезд на них повеяло холодом.

Аванти и его команда улеглись рядом на сухой траве, поближе к раненым, отчасти ради них, отчасти ради самих себя, чтобы всем было теплее и легче подавать помощь. Целая кучка товарищей вместе с фон Хюльзеном сгрудилась около безжизненного марсианина. Они охотно влили бы свое собственное тепло в его окоченевшие члены. Но с дрожью ощущали, что лежат рядом с трупом. Один Новиков еще не отчаивался.

Всю ночь провели без сна земные гости. Шопотом делились друг с другом своими страхами, сомнениями, наблюдениями и предположениями относительно физических особенностей марсиан, их нравов и обычаев. Марсиане, насколько они могли судить по тем, с которыми им пришлось здесь соприкоснуться, оказывались человеческими существами более тонкого и совершенного строения и сложения, нежели они сами. Очертания их черепа были изящнее и тверже; кожа на теле и лице необыкновенно нежная и гладкая, без признака волос, даже в виде усов или бороды. Все органы чувств казались более утонченными. Зрачки глаз были крупнее, блестели ярче; маленькие уши благородного рисунка плотно прилегали к голове. Подвижной рот, с чистым и красивым изгибом губ, не имел в себе ничего плотоядного или грубо-чувственного. Нежные, узкие и гибкие руки и ноги тоже

указывали на облагороженную породу. Все животное, грубое и неуклюжее было в них как бы очищено, обточено; все члены тела отличались красотою, движения грацией, все говорило о тонкой духовной организации и телесном совершенстве, которые на Земле являлись пока уделом лишь немногих избранных, но давно были идеалом, манившим к себе искусство. Аванти невольно сравнивал марсиан с произведениями древних эллинов или итальянцев, как Ботичелли, Рафаэль и Канова, воплотивших в своих типах лучшие мечты человечества о прекрасном и гармоничном человеке. В типе, выработанном на Марсе самою жизнью, не осталось уже ничего отзывавшегося звериным: ни волосатости кожи, ни запаха пота, ни косолапости, ни торчащих ушей, ни острых, длинных ногтей, ни грубого костяка, ни слишком длинных рук, ни обвислых плеч и сутулых спин. Нормальным типом человека стало воплощение красоты, гибкой стройности и гармонии движений.

Тихая зеленая дымка ночи окутала их. Больные прерывисто и тяжело дышали. Аванти с товарищами продолжали обмениваться мыслями. Кое-кто из них пытался уснуть, чувствуя приблизительно то же, что спутники Одиссея в пещере Циклопа. И все же пребывание в этом своеобразном мире было полно для них какого-то до тех пор неведомого им очарования. Две планеты смешивали здесь свое дыхание. Жизнь искала жизни. Земля ранила Марс и пыталась

загладить свою вину сердечными заботами, любовным уходом. Существа, которые не могли объясняться друг с другом и даже видеть друг друга в этом сумраке, отдыхали бок-о-бок. И боли мало-по-малу утихали, лихорадка ослабевала. Сострадание и заботливость делали свое дело в тиши. Ни гнева, ни ненависти, ни жажды мести, ни стремления покарать. Всех одушевляло одно желание добра, искренняя надежда на исправление зла. И, вопреки страху перед будущим, земных обитателей бодрила уверенность, что столь утонченная, облагороженная физическая организация несовместима с духовным варварством.

Не возмездие, а искупление! Сердце Аванти билось от наплыва чувств и мыслей. Да, им-то было что искупить и что загладить! Они должны были смыть с Марса пятно—позорный след грубости нравов той красной планеты, с которой они явились сюда.

XXIII

Обезвреженная планета.

Горячее чувство благодарности судьбе охватило Аванти и его сотоварищей, когда приговоренный к смерти вдруг начал слабо дышать. Новиков своей неустанной настойчивостью добился победы.

Фон Хюльзен разрыдался, когда в теле раненого затеплились первые искры жизни, ежеминутно грозя

угаснуть вновь. Своими крупными, сильными руками он схватил узкие, белые руки своей жертвы и старался согреть их жаром своего дыхания. Никакой милосердный самарянин не мог бы нежнее ухаживать за страдальцем. Неусыпно следил он за тем, как разгоралась жизнь в чертах смертельно бледного лица. Неутомимо поддерживал затеплившийся луч надежды, словно охраняя свою собственную жизнь. Черствый, сумрачный пруссак стал неузнаваем. Весь день проводил он, склонившись над своим пациентом, как бы стараясь заживить его рану самым дыханием своим. Он смотрел на молодого марсианина, как на вновь обретенного, спасенного сына.

Новикова трогал этот худощавый, измученный пруссак, прижимавший к своей груди бледного пациента. Это зрелище напоминало ему картину его земляка Репина, изобразившего Ивана Грозного, который в припадке хмельной ярости раскроил винной чашей череп собственному сыну, а потом в безумной скорби прижал умирающего к своему сердцу.

Молча пожимал фон Хюльзен руки своим товарищам, преисполненный безграничной, радостной благодарности судьбе за то, что ему удалось отвоевать жизнь для всех них. Да, так следовало бы заставлять каждого преступника: прижать к своей груди жертву и физически почувствовать, понять свое преступление! Марсиане были правы: нет более справедливого возмездия, нежели прочувствованное раскаяние и

добровольное желание искупить свою вину. Что за адская мука чувствовать, как твоя жертва умирает у тебя на руках, и что за блаженство обнимать ее выздоравливающею!.. Фон Хюльзен успел так глубоко почувствовать свое преступление, что готов был добровольно умереть вместе со своей жертвой, если бы жизнь не вернулась к раненому.

Пребывание в «Ущельи возмездия» продлилось несколько дней. И явилось для обитателей Земли несколько мрачным, но поучительным посвящением в условия жизни той планеты, куда они залетели. Выздоравливавшие раненые марсиане не покидали пещеры, но оставались помогать своим земным гостям и делом и словом. И два чуждых мира с поразительной быстротой научились понимать один другой. Лица марсиан обладали какой-то чудесной прозрачностью в смысле обнаружения работы их мысли, были скорее стеклами, прикрывавшими сложный механизм души, нежели масками, как у людей Земли. На этих лицах ясно проступало каждое душевное движение, каждая едва зарождавшаяся мысль; все представления и понятия материализовались в мимике и жестах.

Из всего явствовало, что ни один из ныне живущих марсиан не слыхивал ни выстрела, ни взрыва до того, как фон Хюльзен приветствовал их своей гранатой. Событие это разбудило в них лишь жуткие воспоминания о далеких сказочно-варварских временах, когда взрывчатые вещества, подражавшие

действию грома и молнии, опустошали Марс, как ужасающие грозы. Тысячи лет тому назад Красную планету постигла беспримерная катастрофа. Не всеобщий потоп, который стер все грани между материками и океанами на Земле, но подобная грозному урагану война, опустошившая почти всю планету. Народы и государства восстали друг на друга с оружием, о видах и силе которого сохранились лишь смутные рассказы. Действием его стирались с лица Марса не только целые полчища, а даже огромные города: безграничная желтая пустыня была ничем иным, как прахом погибшей культуры, разрушенных городов с их стенами, сводами, куполами и башнями. Разрушение было столь грандиозным, что восстановить разрушенное оказалось невозможным. Песок и щебень погибших зданий заглушили всякую растительность, и опустошенные пространства так и остались навсегда пустыней. Лишь одно небольшое племя уцелело от общей участи, не было уничтожено всепожирающим чудовищем безумной всемарсовой войны. И оно навеки изгнало из своего обихода молниеносное оружие. Самое устройство его было забыто, как ненавистное и презренное колдовство. Применение смертоносного оружия против людей вменялось с тех пор в смертный грех на Марсе. Зато все имеющиеся в распоряжении его обитателей средства уничтожения были направлены на борьбу с вредными животными и растениями, наносящими ущерб мирной пло-

доносной природе. С незапамятных времен повели марсиане беспощадную войну не только со всеми видами хищных зверей и ядовитых гадов, но и с самыми малыми вредителями, которые портили растения или изводили людей.

К стыду для своей земной родины, узнали гости, что на Марсе давным-давно уничтожены все мелкие паразиты, с которыми еще приходится бороться на Земле людям. Сколько ни выжигали они на войне свои окопы огнем, ни обкуривали их серой, житья не было от нательных паразитов. Обитатели Земли в мировую войну миллионами истребляли цвет собственного семени, оставляя вшей торжествовать победу. Марс давным-давно был очищен не только от вшей и т. п. нечисти, но и от комаров и всяких москитов. Никакая летучая или ползучая нечисть не нападала на них в «Ущельи возмездия». И бывшие воины с досадой вспоминали о том, что земные люди, достигшие высшего совершенства в дьявольском искусстве истребления себе подобных, не додумались обратить оружие против истинных врагов человечества. Что, если бы, напротив, люди сообща употребили свои миллиарды на истребление вредных насекомых и вредных животных?!

Аванти часто говаривал, что верит в воплощение дьявола, когда видит стенного клопа. Для него не было ничего отвратительнее клопа, заползающего в его постель, пятнающего своими укусами его кожу и отра-

вляющего своей вонью ему воздух. Платяные вши, избирающие для своего размножения самые укромные уголки человеческого тела, комары, впрыскивающие яд взамен высосанной крови, назойливые мухи всех сортов вплоть до зловредных холерных, все эти паразиты были для Аванти живыми воплощениями бесов. Он объявлял себя сторонником миропонимания Зороастра, считавшего самым благословенным культурным деянием — истребление на Земле всякой нечисти, растительной и животной.

Не все его товарищи соглашались с ним. Турок Кемаль-бей защищал ту точку зрения, что все живое является порождением единой всемогущей силы и имеет одинаковые права на жизнь. Поэтому клоп, с опасностью для собственной жизни присасывающийся к своей жертве, ничуть не инфернальнее аиста, таскающего из пруда живых лягушек, или ласточки, глотающей налету комаров, или человека, убивающего больших и сравнительно высоко-развитых животных, чтобы пить их кровь, есть их мясо и использовать их шкуру. Одна жестокость стоит другой. Природа приспособила одних животных питаться животною, других—растительною пищей. Какой способ питания более греховен? Человек победил остальных зверей потому, что он самый ловкий и самый умный хищник. Что иное вся цивилизация и культура, как не иллюзия самовозвеличения человеческого! С ужасом вспоминаем мы древние варварства,

пытки, колесованье и дыбу, выставление напоказ отрубленных голов и истерзанных тел. Но «казни» отнюдь не отменены. Ежедневно в помещениях, наводненных кровью, убиваются тысячи больших безобидных животных. Их обескровленные головы и выпотрошенные, распяленные туши выставляются напоказ за зеркальными витринами рядом с продуктами самой утонченной культуры: жемчугами, бриллиантами и шелковыми тканями, великолепными мехами и щегольской обувью из содранных шкур. Повсюду нож мясника кромсает невинных крупных животных, кровь которых с виду не отличить от человеческой. Хотя людоедство и удалось почти совсем искоренить на Земле, нам этим нечего особенно хвастаться, раз человек продолжает оставаться хищным зверем, который щадит лишь себе подобных и, по праву победителя, пожирает другие породы. Если с точки зрения человеческой клоп—воплощение дьявола, то для всего животного мира человек—еще худший дьявол.

Аванти возражал ему, что культура всегда есть борьба. Возделанное и засеянное поле необходимо полоть. Человечество не может совершенствоваться, не освобождаясь от зверских инстинктов и не ведя войны с вредителями. Культура уже очистила Землю от многих вредных растений и животных. Но борьба должна вестись систематически, как на Марсе, где мясоедство давно оставлено, как пережиток варварства. Человек должен очищать природу и себя

самого от всякого зверства, от хищнических инстинктов и от всех вредных животных и растений.

Турок спрашивал:

— А не является ли всякая истребительная война, будь она направлена против людских племен или против животных пород, выражением хищнических инстинктов?

— Нет,—отвечал Аванти,—потребность в очищении, облагорожении и идеальном совершенствовании диктуется не животною натурою.

— Даже тогда, когда эта потребность выражается просто в истреблении всего надоедливого и назойливого? У животных, как и у человека, тоже есть инстинктивная потребность избавиться от своих паразитов. Но я не вижу ничего идеального в том, что обезьяна ловит и пожирает своих вшей! Одна природа создала всех. Всемогущая животворящая сила—аллах или бог, или как вы ее ни назовете—достаточно великодушна, чтобы терпеть на своем теле даже вшей. И нет никакого благородства в стараниях избавиться от паразитов или других мучителей. По-моему, Марс просто ограбил себя, уничтожив часть созданий общей матери-природы.

— А если она как-раз нуждается в нашей человеческой помощи для истребления этих паразитов на ее теле?—улыбаясь спросил Аванти.

— То, что вы называете паразитами, имеет такое же право на жизнь, как мы сами,—серьезно

стоял на своем турок. — Быть может, и нас можно сравнить лишь с паразитами на теле аллаха? Берегитесь, как бы он не раздавил и не уничтожил нас. Мы не имеем никакого права рассчитывать на большую заботливость сверху, чем сами оказываем внизу.

— Неужели кто-нибудь из нас тоскует здесь по земным паразитам? Я во всяком случае нисколько!— заключил Аванти.

Кризис миновал. Умирающий медленно возвращался к жизни. И лишь теперь началось истинное искупление. Преступник старался шаг за шагом вернуть раненого к жизни, овладеть его привязанностью, завоевать его сердце. Фон Хюльзен посвящал все свои силы уходу за больным. Он и днем и ночью был около него, умывал его, одевал, кормил, перевязывал его рану и ревниво старался сам оказывать ему все, даже самые мелкие услуги. Он, так сказать, няньчил свою жертву, как мать пестует свое беспомощное дитя. Лишь теперь он вполне понял всю глубину и смысл этого вынужденного ухода преступника за жертвой, положенного правосудием на Марсе в основу принципа искупления.

После длительного периода выздоровления марсианин сделал первые неверные шаги, опираясь на руку фон Хюльзена. А затем рука об руку, как братья, покинули они «Ущелье Возмездия». Убийца

отвоевал свою жертву у смерти, и они вместе вернулись к жизни и свободе.

XXIV

В священной роще.

Настало утро освобождения. Но не двери тюрьмы открылись перед ними. Не заключенные преступники вышли из них. Была пройдена школа покаяния, и учителя с учениками вышли рука об руку, свидетельствуя, что срок испытания миновал, что сердца их нашли друг друга.

Росистое утро накидывало на мощные черные скалы синеватую дымку света. Солнце с высоты базальтовых гребней посылало горячий привет исцеленным. Птицы, похожие на ласточек, кружили в небесной лазури.

Издалека доносился диковинный звон, словно в глубине лесов звонили в огромный гонг. Похожи были эти глубокие, певучие звуки и на звуки органа. Жители Земли уже слышали их в свое первое утро на Марсе. Мелодичный звон то медленно затихал, то снова крепчал, как бы давая всей окружающей природе проникнуться этими волнами звуков, теряющимися в глубине лесов. Что это — эхо? Или ответный звон из других миров? Аванти благоговейно внимал им, теряясь в догадках. Уж не отзвуки ли это с

лун Марса? Не они ли поют приветственную песнь планете-матери? Так бокал из дорогого хрусталя, звеня сам, заставляет звенеть другие бокалы.

Вся толпа врачевателей и исцеленных стояла наготове, когда ворота ущелья отомкнулись, и в них хлынули потоки солнечного света. Ослепленные его блеском, глядели они на ниву золотых колосьев-посохов, над которыми трепетали васильковые звезды. Вождь марсиан и его свита поднятием жезлов приветствовали выходивших.

Попарно выходили они из ущелья. Дальтиане об руку с марсианами. Исцеленный обнажал на солнце свою заживленную рану, его врачеватель и сиделка целовал шрам, и на плечи каждого набрасывался белый плащ в знак того, что примирение совершилось.

В приливе умиления Аванти невольно преклонил колена, почувствовав легкое прикосновение плаща. Последним вышел фон Хюльзен со своим побратимом. Немцу казалось, что он слышит биение сердец окружающих и что его собственное сердце колотится с удвоенной быстротой. Он остановился и потупил глаза, весь вспыхнув, словно облитый кровью из всех этих шибко бьющихся сердец, не в состоянии шевельнуть ни рукой, ни ногой. Наконец, подняв взор, он увидел только огромный красный шрам на груди своей жертвы. Но тут же почувствовал себя в объятиях своего пациента, а братский поцелуй и вернул ему силы и поверг на колени. Он закрыл отяжелевшие

от слез веки, не замечая, что все его товарищи тоже на коленях. Когда они поднялись, на всех белели плащи искупления.

Белое шествие медленно и торжественно двинулось вглубь леса или вернее рощи. Все шли молча. Лишь прекрасный далекий колокол продолжал звучать, заставив умолкнуть щебетание и трели птиц.

Они шли словно по узкой и густой аллее светло-зеленых бамбуков. На верхушках толстых, круглых тростниковых стволов трепетали узкие длинные листья, как бы колеблемые звуковыми волнами. Под конец листва сомкнулась над их головами зеленым сводом, кончавшимся узким порталом, в который едва могли пройти двое рядом.

Аванти остановился перед ним, ослепленный видом помещения, куда ему предстояло вступить об руку с вождем марсиан.

Перед ним была храмина, подобных которой он не видывал на Земле—колонный зал, как бы простиравшийся без конца во все стороны: вширь, вдаль и высотою до самых небес. На минуту зал этот напомнил ему колоннады Сан-Паоло в Риме. Но затем он убедился, что эти блестящие серомраморные колонны были живыми, прекрасными, высокими стволами храмовых деревьев, образовывавших столь же правильные ряды, как искусственные колонны базилики. Без единого сука или ветки вздымались они из почвы, прямые, как свечи, одетые серебри-

стою корою. И лишь на значительной высоте над поверхностью почвы кроны их сближались, образуя полусводы, оставлявшие в середине узкий просвет— длинную полосу неба, как пронизанный солнцем лазоревый шелковый полог, укрепленный на темнозеленых карнизах.

Зрелище было несравненное. А если еще представить себе этот полог весь в сверкающих ночных звездах!...

Жители Земли поняли, что это было священное место, и никто не решался нарушить тишину ни единым словом. Все стояли, как зачарованные, затаив дыхание. Глаза с благоговением устремились к лазурному просвету, откуда лились на обращенные кверху лица потоки света, и куда уносились звуки отдаленного гонга, отбрасываемые колоннами.

У японца Томакуры пробудилось воспоминание о «Небесном Храме», виденном им в Пекине: бесконечно долго приходилось там итти сначала по белым мраморным плитам, между которыми пробивалась трава, затем по мраморным же лестницам, приводившим, наконец, на круглую террасу, которая и представляла самый храм с бесконечным куполом неба. Небо изливало на головы молящихся свою благодать с невидимого алтаря, которым являлась вся необъятная вселенная.

Здесь же вселенная замыкалась в объятия леса. Небесная благодать нисходила в открытую храмину

с живыми стенами из живых колонн-деревьев, с капителями из листвы и с алтарями из благоуханных цветов.

Пол храмины был не из пестрой мраморной мозаики, но покрыт узорным ковром из живых цветов. На звездообразных куртинах пестрели цветы таких размеров и оттенков, каких не видало ничье земное око. Каждая звезда горела своим особым цветом, а в центре ее словно сверкали самоцветные камни. На однотонном фиалковом фоне ковра эти звезды-куртины сияли то пурпуром рубинов, то золотом топазов, то прозрачной зеленью смарагдов. В расположении цветочных узоров чувствовалась какая-то система; очевидно имелось в виду дать картину звездного неба. Центральный цветок каждой звезды даже при дневном свете сиял диковинным блеском, и лепестки венчиков просвечивали. Ночью же они наверное сияли живыми огнями навстречу настоящим звездам.

По дорожке, описывавшей как бы орбиту планеты и посыпанной золотистым песком, прошли гости между фиалковыми цветочными коврами на середину храмины. Здесь глаз напрасно искал бы какого-нибудь возвышения, амвона, хор или сени. Не было и никаких икон или статуй и никаких ниш, алтарей или престолов. Никаких изображений богов, святых или героев. И никаких символов. Никаких приспособлений для богослужения. Одни живые растения

и цветы. Последние образовывали здесь пирамиду, каждый уступ которой казался отражением одной из цветных полос радуги. На самой вершине, в величавом одиночестве, сиял крупный аметистовый цветок, как бы отражавший в своем прозрачном венчике темносинее небо.

Марсиане стали в круг, центром которого была эта цветочная пирамида, воткнули свои жезлы в почву и сложили руки крест-на-крест на груди, охватив пальцами плечи. Взоры всех были устремлены на прозрачный аметистовый цветок на самой вершине. И все молчали, как бы погруженные в созерцательное раздумье. Жители Земли не сомневались, что присутствуют при своего рода богослужении, хотя оно и не сопровождалось никакими церемониями, ни курением ладана, ни позваниванием колокольчиков, ни выносом чаши с дарами, ни пением, ни гнусавыми возгласами. Лишь попрежнему плыли откуда-то звуки гонга, заливали храмину мелодичными волнами, воронкообразно поднимались кверху и словно всасывались аметистовым венчиком цветка, а оттуда выплескивались прямо в бесконечность неба, как замирающее эхо органа.

Никто из земных гостей не отдавал себе отчета, как долго продолжалось это безмолвное созерцание. Но каждый ощущал какое-то еще не испытанное очарование. Сознание стало певучей мелодией. Они дышали, как дышат цветы. Радужные краски цветоч-

ной пирамиды как-будто свивались перед их взорами в сверкающие кольца, а все ароматы сливались в одно дарящее блаженство, сплошное благоухание. В глубине же венчика аметистового цветка как-будто рождалась, дрожа и переливаясь радугой красок, сама синева неба и время от времени взлетала из материнского лона легкими, воздушными пузырьками, устремлявшимися в беспредельный простор вселенной...

Впервые постигли земные гости вечный голос чистого мышления—без слов, без твердых понятий, не связанного никакими представлениями, подобного аромату, испаряющемуся в мировую бесконечность.

XXV

На седьмой террасе.

Этот час в Храмине Молчания напомнил Аванти легенду о веках, незаметно пролетевших для монаха в стране вечности. Снова увидев вокруг себя знакомые лица, капитан «Космополиса» удивился, что не может прочесть на них—сколько лет протекло с тех пор, как он их не видал. Все лица сохранили след того глубокого впечатления, которое произвела на них просветленная улыбка мудрого старца, улыбка, как бы посвятившая их новому бытию на Марсе; но не морщинами запечатлен был этот след.

Земные гости покинули священную рощу полноправными марсианами—каждый получил свой «жизненный посох» или «жезл свободы». Лишь теперь поняли они, что он был не простой палкой. И крупная васильковая звезда, венчавшая золотой жезл, была не искусственным, но живым цветком. Нежные лепестки его источали сладкий и чистый аромат, и самый посох, очевидно, содержал в себе соки для питания нежного цветка. Это напоминало библейский жезл Ааронов, и земным гостям предстояло научиться бережным уходом поддерживать его вечное цветение.

Являясь символом возмужалости свободного марсианина, жезл играл, повидимому, также роль религиозного талисмана. Без него не ступали ногою в пределы священной рощи. Не ложились вечером спать, не поставив его у своего изголовья, и к нему обращали свой первый взгляд, просыпаясь по утрам.

Эрколэ Сабенэ, до глубины души потрясенный и возмущенный поведением вождя марсиан, *понюхавшего* его крестик с распятием, получил некоторое моральное удовлетворение, увидав, что у марсиан есть свой религиозный символ. Жезл с душистым цветком, очевидно, заменял на *Рале* крест и четки.

Земные гости вполне освоились со своими хозяевами. Вручение «жезла свободы» обеспечивало им гостеприимство. К пище они скоро привыкли. Здесь процветало чистое вегетарианство, о котором на Земле и понятия не имеют. Путем тысячелетней культуры

марсиане достигли настоящего совершенства в выращивании хлебных деревьев. Качество пищи строго отвечало потребностям организма и легкому обмену веществ, обусловленному как чистой и здоровой атмосферой, так и малой весомостью на Марсе. И столь идеально умеренное питание совершенно исключало возможность обжорства и ожирения, как на Земле. Кроме хлебных деревьев, выращивались также растения, собиравшие в своих зеленых кувшинчиках жидкий приятный сок для утоления жажды. Правда, не всем пассажирам «Космополиса» напиток этот пришелся по вкусу. Многие считали отсутствие на Марсе благородной виноградной лозы признаком низшей культуры. Другие скучали по земным продуктам, из которых можно было извлечь еще более крепкие напитки.

Для каждого гостя с земли нашелся свой хозяин. Фон Хюльзен последовал за своим выздоровевшим пациентом и другом, да и остальные не расставались со своими названными братьями из «Ущелья Возмездия».

Аванти сопровождал старого вождя. Вместе поднялись они на седьмую террасу, в прохладный, зеленый плодовый сад. И там долго гуляли то в глубокомысленном молчании, то обмениваясь между собой взглядами и мыслями. Аванти дивился тому, как прекрасно они понимали друг друга, хотя каждый из них знал весьма мало слов на языке другого.

Между ними поистине установился ток взаимного доверия и понимания; они следили за ходом мыслей по лицам друг друга. Аванти в сильнейшей степени почувствовал себя здесь способным к тому немому общению с живыми существами вокруг себя, которое знакомо было ему еще на Земле. Язык взглядов часто более красноречив и духовно содержателен, нежели та болтливость, которую принято называть обменом мыслей, но которая редко имеет что-либо общее с мышлением. Погружая свой взгляд в глаза старца, он чувствовал, как переливаются друг в друга невидимыми струями их сознания. Золотистые глаза старца казались Аванти двумя глубокими колодцами, полными мудрости, которой жаждала его душа.

Старый вождь марсиан был самым совершенным типом своей расы и своего народа, в смысле всеобъемлющей силы разума, становящейся в высшем своем развитии как бы «шестым чувством», посредством которого человек постигает смысл бытия. Прогуливаясь между дивными густолиственными деревьями, не только питавшими своим кислородом его легкия, но, так сказать, укреплявшими и его ум, Аванти невольно вспоминал рощи Академии, где укрепляли своего рода духовным эндосмозом свой дух греческие философы. Жизненные соки так и переливались в нем, он чувствовал себя подобным дереву в период цветения.

Каково было его изумление, когда хозяин провел его под самый верхний небесный купол: там оказалась обсерватория, куполообразный свод которой уподоблялся пышной древесной кроне. В темной густой зелени мерцали бриллиантовые созвездия, расположенные в знакомом порядке и сохраняющие присущий каждому особый блеск. Все указывало на доскональное знакомство со вселенной. Планеты из более тусклых самоцветных камней медленно двигались по своим орбитам. Похоже было, как будто радужно-золотистые колибри порхали в зелени листвы.

Под звездным деревом был разлит странный полусвет. Низкие глубокие сиденья располагали к отдыху и созерцанию. Источниками освещения, видимо, являлись бриллиантовые планеты и звезды, мерцавшие в листве этого гигантского небесного дерева.

На север, на юг, на запад и на восток от этого главного среднего купола помещались четыре обсерватории поменьше, образуя как бы четыреугольник. В каждой было по одному телескопу, которым наблюдатель мог управлять, как подвижною пушкой. Эти небесные орудия были значительно меньшего калибра, нежели колоссальные телескопы Земли, но зато неизмеримо большей мощности. На Марсе, видимо, известны были иные системы расположения оптических стекол, и самые стекла были сильнее. Во всяком случае, Аванти видел здесь звездные карты с такими подробностями, каких не видывал на Земле.

С этих-то сторожевых постов и был замечен «Небесный Корабль», снижавшийся в пустыне. Огромное шарообразное ядро приняли сначала за гигантский метеор, хотя никто не мог истолковать себе его странных движений и не понимал, почему он не воспламенился при столкновении. Ни один из летунов и бегунов, отправившихся с восходом солнца навстречу «Космополису», не ожидал встретить живые существа, выходящие из шара.

Было еще слишком рано, чтобы наблюдать звезды в телескоп. Но Аванти долго стоял, откинувшись назад и созерцая диковинную крону небесного дерева, как бы объединявшего все бесчисленные звезды. Он лишь смутно угадывал идею культа этого большого прекрасного дерева; очевидно, оно являлось высшим символом миропонимания обитателей Раля.

Здесь вселенная мыслилась в виде гигантского дерева с плодами— недостижимыми звездами. Мудрый старец был стражем дерева. Днем и ночью упивался мудростью, источником которой было созерцание. В глубине его золотых зрачков и отражалось это живое звездное дерево. Во время бессонницы он лежал под его листвой и впивал его взорами.

Аванти знал это по себе. Он сам испытал подобное, лежа в саду виллы Боргезе и созерцая кружево густых ветвей пиний на голубом шелковом пологе неба. Нет ничего величавее и сильнее безмолвной и неутомимой жизни растений. Что может сравниться

с ароматом цветка? И не все ли живое в мире произрастает, пускает побеги, почки и расцветает, чтобы умереть, отдать небу последний блаженный, ароматный вздох? Растение при всей своей неподвижности говорит о движении, указует направление. Прах земной не в силах удержать росток, задушить его в своих недрах; росток стремится вверх, притягиваемый неведомой силой. Стремление ввысь есть стимул жизни.

Странно действовал на Аванти аромат цветов. Он ощущал этот аромат, как тысячеустое дыхание, обдававшее его со всех сторон. И каждый аромат звучал и говорил ему что-то свое, особое; каждый цветок как бы изливал в аромате свою душу. И Аванти инстинктивно понял, что их нельзя рвать. Как-то раз пальцы его, по земной привычке, машинально принялись теребить стебелек, но аромат цветка предостерег его: «Не рви меня! Дай мне увянуть на ветке. Нельзя насильно обрывать жизнь!»

Уже стемнело, когда мудрый марсианин повел, наконец, гостя в свое жилище. Оно имело типичную форму: шесть ячеек, примыкавших к одной центральной; все шестиугольные и все без окон, с верхним светом. Ячейки могли прикрываться прозрачной крышкой, напоминавшей алебастр; сквозь нее просвечивал молочно-белый дневной свет.

Они вошли в центральную келью. По середине стоял стол, похожий на большой гриб. На нем, в

опаловом сосуде-полушарии росло растение с твердыми малахитово-зелеными листьями и с одним единственным цветком-фиалом.

Небо над кельей стало сереть. Спускался туман. Старый вождь нажал какую-то пружину и спустил потолок. А цветок на столе засветился при этом фосфорическим блеском. Свет этот был достаточно силен, чтобы при нем можно было видеть, и бросал ровный отблеск на все лицо марсианина, лишь еще углубляя его янтарные зрачки и оживляя тонкую сеть мелких лучистых морщинок. Этот странный свет рождал в келье своеобразное настроение,—как бы обнажал души обоих собеседников друг для друга.

XXVI

Великая всеистребительная война.

Беседа меньше всего была словесною. Большею частью они обменивались мыслями молча. Принимали участие в этой беседе и их руки, но главным образом «прислушивался» Аванти к мимике своего хозяина, лицо которого поистине «звучало», и к сверканию молний из его властных глаз.

Вопросы и ответы так и лились.

— Что такое мир? Изучаете вы его внешние формы и пытаетесь измерить его бесконечности? Или углубляетесь внутрь, ищете дно? Легче ли найти границы

бесконечно малого? И не одинаково ли неизмеримы и мир великого и мир малого? Где попадаем мы в тупик и слышим: досюда и ни шагу дальше?.. Дайте мне точку опоры, и я переверну мир,—говоришь ты? Но негде искать такой точки, как только в нашем маленьком бьющемся сердце. Все исходит оттуда и возвращается туда же. Источник всей вселенной во мне самом. Мною начинается мировое кровообращение. Если оно не идет дальше кожных покровов моего тела, то я лишь животное. Если достигает далеких солнц, то я—частица вечной, единой, всеохватывающей, всесозидающей мировой силы. Где мне искать животворящее мировое начало, как не в себе самом? Я капля крови, обращающейся в Вечном Целом; я—клеточка мирового организма, атом *всебытия*. И, пока жива во мне частица проникающего всебытие вечного вселенского духа, я подобен живой капле крови мирового организма. Если же этого духа нет во мне, я уподобляюсь отмершим чешуйкам его кожи.

...Ты говоришь о ваших богах, об идолах, о застывших изображениях и символах. И здесь, на *Рале*, поклонялись им. На заре времен божество видели и в буре, и в бушующем море, и в громе и молнии, и на недоступных горных высотах. Люди гнули спину перед бурей, падали на колени перед мощным прибоем, трепетали перед огнедышащими вулканами и небесными явлениями, верили, что вечные снега слу-

жат престолом всевышнего. Но постепенно мы стали ограждать себя от его всемогущества. Научились плавать над бездонными пучинами, создали себе оружие, подобное его молниям, открыли силы, соперничавшие с его мощью, изобрели взрывчатые вещества, причинявшие большие разрушения, чем горы, изрыгавшие пламень его дыхания. Обитатели Раля сами выучились разрушать основательнее разрушительных божественных сил. Стали воздвигать более пышные храмы для самих себя, чем для тех богов, которых начали под конец презирать и поносить. Раль стал ареной борьбы свирепых и алчных масс, строивших бесконечные города и гнавших природу, у которой в конце концов едва ли остался хоть один лесной уголок. Города стали логовами человеческих хищников, рыскавших кругом в ожесточенной и завистливой жадности. Когда им уже нечего стало отнимать у природы, они принялись грабить друг друга и вести истребительные войны. Если у вас на Дальте сохранилась память о всемирном потопе, то у нас на Рале до сих пор не изгладились следы всеистребительной войны, превратившей в пустыню большую часть нашей планеты. Ты видел лишь ничтожную часть этой пустыни. Всеистребительная война все сокрушила, превратила в развалины и щебень все города прошлых времен. Раль сам уничтожил свою культуру или лже-культуру, свои машины, свои изобретения, свое зодчество, свои сокровища, свое знание,—все стало

прахом, устилающим пустыню, которая уже никогда не поддастся никакой обработке или восстановлению.

...Наши предания гласят, что лишь одно маленькое мирное кочевое племя пережило всеистребительную войну. От него произошло нынешнее население Раля. Его спас от гибели мирный труд. Бывшие кочевники осели в тихом оазисе, сжившись с жизнью деревьев, вслушиваясь в живительное журчание источников, очищая свои легкие ароматом цветов, оздоровляя свою кровь пищей из плодов. Они стали разрыхлять и возделывать почву, пока она не сделалась пуховым ложем для бросаемых в нее семян, для выращиваемых на ней растений. На протяжении тысячелетий им удалось создать непрерывную цепь оазисов, опоясать обитаемыми садами всю центральную зону Раля, удаленную от полярных льдов и тундр. Ты можешь лететь над лесными и садовыми террасами без конца. Да будет благословенно лесное племя, которое первое откопало источники, питающие нашу культуру, насадило кусты, положившие начало облесению Раля!

...Из того, что ты сообщил мне, гость с далекой и все же родственной нам Дальты, я вижу, что многое на твоей планете идет так, как некогда шло у нас, *до* всеистребительной войны, встряхнувшей нас и научившей нас искать высших и благороднейших целей.

— Каковы же эти цели, благородный вождь Раля? Земля, откуда я прилетел, повиновалась одному

закону, общему для людей, животных и растений, закону неограниченного размножения: «плодитесь и размножайтесь и населяйте Землю!» Тысячи живых пород и видов непрестанно размножаются и борются за место на Земле. Жизнь пожирает жизнь, вид пожирает вид. С незапамятных времен знаем мы эту борьбу за существование. Человек, как умнейший из всех хищников, вышел из этой борьбы победителем, подчинил себе растительность и животный мир. Мы оттеснили враждебных зверей в пустыни и болотистые лесные дебри. Самые опасные из них вымирают и скоро станут редкостью или вымрут совсем. Расчистили мы и растительный мир. Мы используем нужные нам растения, как и нужных животных. Мы даже сумели вырубить огромные девственные леса, когда-то сплошь покрывавшие некоторые пояса материков. Мы вмешались в борьбу растений между собой и заставили их служить себе. Мы сумели ограбить и мертвую природу. Извлекли из ее недр металлы и минералы и переработали их для своих целей — в оружие и в украшения. Мы стали полными владыками на нашей планете. Тем животным и растениям, которые не мешают нашему владычеству, мы предоставили свободу взаимного уничтожения и, таким образом, поддерживаем равновесие в природе. Их хищные инстинкты мешают им отвоевать у нас Землю. Но в нас самих еще живы те же инстинкты. Наша планета делится на сообщества, именуемые

нациями, которые вечно точат оружие, чтобы пускать его в ход друг против друга... Расы и племена беспрерывно воюют из-за первенства. Повидимому, северяне сильнее других. Климат жаркого пояса расслабляет, обессиливает. Отвесные лучи солнца отупляют. Между нациями одинаковых климатических областей идет ожесточенная и непримиримая борьба. В настоящее время братоубийственные бойни людские как-будто достигли своего апогея. У нас идет такая же всеистребительная война, какая у вас отошла в область преданий. Мы грыземся, как дикие звери, из-за обладания родной планетой. А кроме этой войны между отдельными народами, в народных глубинах назревает другая борьба уже не за расширение внешних границ, а за самые условия существования. С незапамятных времен правящие составляли меньшинство. Они завладели властью, как более сильные, ловкие и храбрые. Они заставили массы работать на себя, сделали из них рабов, держа их в повиновении силою оружия и денег, невежества и суеверия... Для этих масс, ничего не имеющих и несущих свой рабский труд за ничтожное вознаграждение, придумана особая религия бескорыстия и страдания, которая должна служить им утешением в их безнадежном, беспросветном рабском существовании. Всех тех, кто страдал и боролся с нуждою на Земле, старались уверить, что их ждет за гробом иной, лучший мир, где «последние станут

первыми». Бог в беспредельности небесной вознаградит малых сих, безропотно несущих на Земле свое бремя и свой крест до самой смерти. Две тысячи лет назад власть имущие и хитродумцы распяли благочестивого, наивного мечтателя, проповедывавшего людям прекрасное учение любви к ближнему, распяли на кресте, который его же самого заставили принести на место казни. Этот окровавленный крест, на котором был пригвожден кротчайший, чистейший из сынов человеческих, стал символом утешения для безропотно влачащих свое мучительное ярмо. Поработители всячески внушали им отнюдь не бунтовать против господствующих, но безропотно страдать, по примеру распятого, и—загробное блаженство будет им обеспечено! Ты сам видел изображение этого креста; один из моих спутников показал тебе его при первой встрече. Это высокое учение уже две тысячи лет исповедуется господствующими нациями. Этот чистый и кроткий человек желал *своей* смертью искупить грехи и заблуждения всего человечества и подать всем страдающим и угнетенным божественный пример самоотречения. Но он является настоящим спасителем лишь для отдельных страдальцев. К нему прибегают лишь измученные и одинокие души, не имеющие другого прибежища. Он утешает лишь благочестивых, отвратившихся от мира и его грязи. Для масс, утопающих в грязи, в рабском труде, захлебывающихся ненавистью к тем, кому живется лучше,

он *ничего* не значит. Его царство ведь «не от мира сего»; они же хотят иметь свою долю здесь, на Земле. В старину их называли рабами, теперь именуют рабочими, а сами они зовут себя пролетариями. Они не дают одурачить себя баснями о сыне божием, принявшем образ раба. Теперь уже не найдется другого такого раба, который бы дал распять себя на кресте! Пролетарии отказываются влачить свой крест рабства и нужды. Они собираются в полчища и наступают на тиранов с лозунгами: «Уменьшение рабочего дня! Увеличение заработной платы! Увеличение материальных благ! Наш труд—наша и прибыль! Долой лукавых поработителей! Долой деспотов капитала!» Словом, если даже всемирная война народов окончится *до* всеобщего истребления, ее сменит еще более страшная, длительная гражданская война между поработителями и порабощенными. Мифы северной древности повествуют о борьбе между восседавшими на вершинах бытия блаженными богами и покоренными подземными силами, взбунтовавшимися против небесных владык. Так в настоящее время люди, придавленные к земле, как черви, готовятся восстать на богов капитала. Деньги!.. Имеется ли у вас на Рале что-нибудь похожее на наши деньги? Это ценности, за которые можно приобрести все. Ценности, которые в неограниченном количестве могут скопляться в одних руках и дают владельцу возможность присваивать себе все про-

дукты чужого труда. Эти ценности воплощались прежде в самых редких земных металлах, особенно же в чистом, тяжелом, прекрасном и не портящемся золоте, напоминающем сгустки застывшего солнца. Вот у меня в руке образчик этого чистого благородного металла. Такие кружочки имели прежде волшебную силу; обладатель их мог обменять их на любые продукты долгого и упорного труда многих рабочих. Роскошные одежды, дорогие яства, даже женская любовь покупались золотом! Обитатели Земли так твердо веруют в тайные силы этого металла, что со времени начала всемирной войны не решаются пускать его в свободное обращение, но замуровывают в подвалах и заменяют бумажками, квитанциями на большее или меньшее количество спрятанного металла. Людям не показывают больше золота, а лишь условные знаки, бумажные символы его. Но всем миром попрежнему повелевают строго охраняемые запасы золота. От величины этих запасов зависит мощь наций; из них расходуют на приобретение оружия и взрывчатых веществ; из них платят людям за убийство других людей. Таинственная власть золота тяготеет проклятием над человечеством, заставляя людей миллионами истреблять друг друга!

Старый марсианин взял в руки блестящую золотую монету и внимательно оглядел ее.

— Этот металл нам хорошо известен. Он красив и не изменяется от действия воды и воздуха. Мы

употребляем его на украшения, радующие глаз. Нам никогда не приходило в голову выделывать из него такие кругляшки, а тем более прятать его в глубоких подвалах. Он лучше всех прочих металлов переносит действие солнца и воздуха. А потому мы предоставляем ему сиять на радость всем в волосах наших женщин или на жезлах мужчин. Но совершенно немыслимо за кружок золота присвоить себе все желаемое! У нас на Рале этот металл никогда не может играть той роли, как ты говоришь. Его сравнительная редкость не дает ему никаких преимуществ. У нас никому не дано права прятать редкости под замок и лишать других радости любоваться ими. Никому и не приходит в голову собирать редкости. У нас, правда, сохранились древние предания о том, что *до* всеистребляющей войны и людьми нашей планеты владела страсть к обладанию мертвыми вещами, недоступными другим. Рассказывают о драгоценной раковине, которая встречалась так редко, что нужно было загубить целую жизнь на то, чтобы разыскать ее в подземных пещерах и извлечь оттуда, и вот люди убивали друг друга из-за обладания ею. Наше время особенно ценит прозрачные драгоценные камни; их шлифуют и заставляют сверкать белыми, зелеными, красными и лиловыми огнями. Но никто не имеет права присваивать их себе в собственность. Мы применяем их для украшения наших одежд, в которых показываемся в обществе, и для украшения

мест общественных сборищ. Но больше всего мы любим и ценим все живое. И, открыв какую-нибудь новую ценность, мы стремимся сделать ее общим достоянием. Кто бы ни произвел редкость, радующую душу своим блеском или совершенством, восхищающую глаз своей красотой или обоняние своим ароматом, он спешит выставить ее для обозрения всех, чтобы доставить радость возможно большему числу людей. Ведь от созерцания не убудет ценности! Дома же, в своих личных кельях, все имеют только простые, обыкновенные, обиходные вещи. Самое лучшее, самое прекрасное и возвышающее душу должно быть доступно всем.

— Я понимаю тебя: ты имеешь в виду мир искусства. Прекрасные картины и статуи не должны принадлежать отдельным лицам, но всему обществу, и должны выставляться напоказ всем. На Земле тоже придут к заключению, что искусство должно быть общим достоянием, и произведения искусства должны храниться только в музеях, то есть в «жилищах муз».

— Я не знаю, о каком искусстве ты говоришь, гость. Но полагаю, под произведениями искусства ты понимаешь изображения природы и живых людей; фигуры и картины, подражающие тому, что мы видим вокруг?

— Твое предположение верно. И я дивлюсь тому, что до сих пор не видел на твоей планете подобных

изображений. На Земле сад считается недостаточно прекрасным, если среди цветов и деревьев не поставлено статуй из мрамора или бронзы, изображающих идеально прекрасных людей. А в ваших райских садах здесь я не видел ни одного произведения искусства, ни одной статуи, которая могла бы служить образцом совершенства в глазах всех смертных, ибо художник сумел подметить разбросанные там и сям детали идеала и сочетать их в гармоническое целое.

— Зачем итти окольными путями и создавать мертвые образцы, когда можно создавать живые? Когда мы хотим облагородить древесную породу или получить цветок еще невиданной красоты и нежности, мы ведь не создаем себе сначала мертвых моделей из камня и красок, а стараемся путем прививок и усиленного ухода добиться прямых результатов, получить желаемый вид самого растения. Ты не видишь в наших парках идеальных деревьев или цветов, изваянных из камня или из металла, а видишь живые образцовые достижения. Ты сам говоришь, что ваша планета не знает такого совершенства растительных форм.

— Я не о растениях говорю, но о людях. В искусстве мы стремимся осуществить наши заветные мечты о совершенном человеке. Художник—творец, закрепляющий в нетленных формах идеалы человеческой красоты, к которым мы стремимся. Одно из небольших племен земных несколько тысяч лет тому

назад дало непревзойденный апофеоз человеческой телесной природы. Их изображения людей так благородны и идеально прекрасны, что стали недосягаемыми образцами для всех позднейших поколений.

— Но зачем вы создаете *изображения* прекрасного вместо того, чтобы *воплощать* красоту в жизни? После всеистребительной войны мы культивируем не только цветы и деревья, но и людей. У нас тоже сохранились предания о том, что в древнейшие времена народы Раля занимались изготовлением подделок под человека, например, изображали его в виде гигантских идолов, которые ставились в капищах и которым поклонялись, а также размалевывали огромные полотна изображениями войн и побед. Но все это погибло вместе с теми поколениями, которые их создали. Все эти произведения искусства погребены в пустыне под развалинами башен и дворцов. Всеистребительная война была поворотным пунктом в истории культуры нашей планеты. Пережившее войну лесное племя сделало совершенствование человека звеном всеобъемлющей культуры. Тип человека, подлежащий размножению, выбирается, совершенствуется и облагораживается, подобно всякому другому живому организму. И лучше ведь творить из живой плоти и крови, чем из безжизненного материала. Искусство *жизни* наивысшее из всех. Все, что рождается безобразного и уродливого, злого и отталки-

вающего, подлежит уничтожению. Оно не имеет права жить, не говоря уже о размножении. Лишь красивые, здоровые, чистые и беспорочные индивиды, всего дальше шагнувшие вперед от животного, избираются для продолжения рода. Причиной погибельной, истребительной войны было как-раз перенаселение—результат ничем неограниченного, необузданного права на размножение, одинакового для всех рас и типов, добрых и злых, здоровых и больных. В конце концов это беспорядочное размножение создало на Рале настоящий хаос племен, у которых не было другого выхода, кроме взаимоистребления в непрестанных войнах. Дикое, неразумное размножение вызывало хищное самоистребление. Это больше никогда не повторится. Обитатели Раля уже не прежние первобытные хищники. Они укротили в себе звериную похоть и возвели право размножения в религиозный культ избранных.

— Я сгораю нетерпением узнать—каким образом?

Глаза Аванти сверкали. Передача мыслей прекратилась, и наступил созерцательный молчаливый отдых. Фиал цветочной лампы освещал их ровным фосфорическим светом. На минуту мысли Аванти вернулись к Земле. Там собеседники не преминули бы прибегнуть к возбуждающим напиткам. Но здесь не было ни бутылки, ни винной чаши, ни бокалов. Здесь ни гость, ни хозяин не брались за кубок, чтобы алкоголизировать свой мозг, вежливо приветствуя

собеседника: «Я одурманиваю себя за ваше здоровье!»

С восторгом любуясь мудрым старцем, вождем Раля, земной гость поделился с ним мыслью:

— Я понимаю, что здешний тип так благороден и прекрасен, раз для продолжения рода избираются мудрецы, подобные тебе!

Но хозяин улыбнулся странной просветленной улыбкой и, указывая на себя, промолвил:

— Ты ошибаешься, чужестранец. Я как-раз из тех, которые *не* размножаются.

XXVII

Жрецы безмолвия.

— А на твоей планете так же, как и на Рале, прекраснейшие цветы не дают семян? У наших вся сила уходит в выгонку пышного и ароматного цветочного венчика. Прекрасный цветок как бы одухотворяется и освобождается от своего прямого назначения—продолжать род. Он не заботится о завязи, об опылении. Органы размножения перерождаются у него в махровую красоту. Его единственным назначением становится источение аромата своей субстанции. Аромат цветов—их душа. Они умирают, исходя ароматами, возвращаются к первоисточнику жизни с последним своим благовонным вздохом. Хлебные расте-

ния, напротив, должны вырабатывать питательные вещества отчасти для нас, отчасти для семян, которые служат для размножения.

Аванти внимательно выслушал и понял.

— Итак, достойный вождь и гостеприимный мудрец, ты принадлежишь к бесплодным цветам, которые не продолжают рода, а живут лишь для того, чтобы благоухать мыслью, излучать свое духовное «я», стремящееся к воссоединению с первоисточником всякой жизни? Я понимаю всю красоту их назначения: быть светочами красоты и мудрости для тех, кто предназначен для половой жизни. Но может ли общий смысл жизни быть понятным тому, кто не знает полового влечения, инстинкта размножения, глубочайшего из всех жизненных инстинктов? Как возможно познать высшую радость, высшее счастье жизни, не зная любовной страсти? Разве не она — господствующий принцип всего бытия? Не страдает ли бесплодный цветок недостатком творческой мысли, наивысшего достижения жизни?

— В вопросе твоем, гость, сказывается односторонность твоей натуры; ты не понимаешь, как видно, что в моей и мне подобных натурах воплощено идеальное воссоединение начал женского и мужского. Всякий однополый живой организм стремится к такому воссоединению, тоскует и страдает, пока оно не совершится. Любовь есть потребность однополого существа слиться с существом другого пола;

в тот же миг, как слияние произошло, тоска и страдание исчезают, переходя в чувство удовлетворения: цель достигнута. Любящий готов умереть ради любимого дополнения к себе самому. Едва же оплодотворение совершилось, завершено и назначение обоих однополых существ. Период цветения жизни для них кончается в тот же миг, как от них рождается новая жизнь. Я же и мне подобные родились уже завершенными. Любовная тоска слияния удовлетворена в нас до нашего появления на свет; мы не чувствуем потребности оплодотворения, но можем все наше жизненное устремление, все силы нашего организма обратить на развитие нашего «я»—для пользы и счастья других.

— На моей планете мы не знаем подобных людских существ.

— Разве у вас и в виде исключения из общего правила не рождается иных людей, кроме однополых—или мужчин, или женщин, подвластных любовному влечению и закону размножения, предназначенных для продолжения рода?

— Да, нам известны случаи существования таких особей, у которых развиты и мужские и женские половые органы. Но мы относим их к ненормальностям, уродливостям природы. Древний миф указывает, как на первое подобное существо, на одну речную нимфу, которая так страстно влюбилась в мужчину, что взмолилась к богам о вечном соединении

с возлюбленным; и вот, их тела срослись воедино. Наша древность дала таким существам имя *гермафродитов* и почтила их извращенно-чувственным культом. Известны нам и случаи как бы раздвоения пола, когда мужские органы соединены с женским любовным инстинктом или наоборот. Но все подобное мы рассматриваем, как явления болезненные, неестественные. Как отклонения от здоровой, нормальной природы, требующей, чтобы мужчина любил женщину, а не мужчину.

— Подобные исключения, которые, следовательно, известны и на Дальте, означают или частичные уклонения от современных форм, или полный возврат к первоначальным формам природы. И у нас преобладающее количество людей рождается однополыми, мужчинами или женщинами. Ваше посещение открыло нам, что мужчины твоей планеты почти таковы же с виду, как и наши. Но однополость в организме мужчины проведена не абсолютно. Тебе стоит только, мой гость и друг, положить руку себе на грудь, чтобы вспомнить о женственных особенностях, нарушающих цельность твоей мужской однополости. Что означают эти зачатки грудных желез? На что мужчине сосцы? Известны ли и вам случаи выделения молока мужскими грудными железами? И в строении половых органов можно найти странные, двусмысленные переходные формы. Все это окутано непроницаемым туманом первобытной природы. Люди

Раля полагают, что раздвоение пола произошло на более поздней ступени развития. Первоначальный человек был существом двуполым, соединявшим в одной особи и мужское и женское начало. Подобно двуполым цветам, заключающим в своих чашечках и тычинки и пестики. Наши древнейшие прародители были все двуполые. Позднее произошло раздвоение пола, и однополые особи наделены были наисильнейшим инстинктом—стремлением к воссоединению. Время от времени природа делает шаг назад к первоначальному принципу и производит существа, подобные мне: не половинчатые или двусторонне развитые, а завершенно-двойственные.

— Но неразмножаемость не есть ли прекращение жизни?

— Нет. Это великое, окончательное ее завершение. При воссоединении раздвоенного достигается полная гармония. Каждый, подобный мне, на Рале от самого рождения посвящается служению извечному началу и живет лишь для своего назначения. Становится стражем священного цветка, ибо сам представляет собою цвет, не приносящий семян, но лишь источающий аромат своей духовной сущности.

— Итак, и здесь признают вечное, безымянное, непостижимое начало. Но в какой форме, в каких проявлениях? Моя планета обозначает его многими именами, в том числе именем бога. И нации земные расы и религии враждуют между собой из-за того—

чей бог единый, истинный. Одни принуждают других веровать в него, прибегая для этого к мечу. Войны во имя бога не раз опустошали Землю. Миллионы земных людей замучены, умерщвлены за то, что хотели сохранить свои собственные понятия и представления о боге. Так как бог говорит лишь языком человеческим, то люди вкладывают ему в уста свои собственные слова. Все земные представления о боге в большей или меньшей степени *человечны*, хотя и создавались великими мыслителями и ясновидцами. И, пожалуй, нет более прекрасного и глубокомысленного представления, как то, что бог, желая спасти человечество, дал себе родиться на Земле в образе сына бедной женщины с тем, чтобы затем принять смерть на кресте во искупление невинною своею кровью первородного греха всего мира.

— И Ралю знакомо нечто подобное. До всеистребительной войны здесь приносились человеческие жертвы, чтобы кровью их умилостивить строгого и страшного бога, гневавшегося на греховный род людской. Я понимаю теперь смысл маленького изображения, которое показал мне твой товарищ: нагого человечка, пригвожденного к двум пересеченным накрест дощечкам. Стало быть, на Дальте еще верят в кровожадного бога, который разгневался на людей за то, что люди ведут столь дурную, греховную жизнь, и вместе с тем почувствовал потребность заклать себя самого в искупление того, что произвел на свет столь дур-

ной род. Но самое возмездие отзывается чем-то звериным, напоминает о древних временах господства хищных инстинктов, подобных тем, что довели Раль до всеистребительной войны, когда не отдельный человек, но все население Раля заклало себя во искупление своих грехов, своей звериной жадности и зависти. Племя, ныне населяющее и культивирующее Раль, не сохранило никаких таких кровожадных и жестоких верований. Мы видим свое спасение не в пролитии крови, но в стремлении к более чистой жизни и более здоровому мышлению. Мы победили звериные инстинкты, эгоизм и мучительный страх смерти, угнетавшие народы по ту сторону всеистребительной войны. Нас больше не мучит совесть, как сознание наследственной греховности, мирового греха или первородного греха, как сказал ты. Мы уже не знаем страха смерти, как наказания за грех. Считаем наше пребывание на этой планете лишь этапом на пути вечности. А смерть— лишь переходом к иной форме жизни. День нашей смерти у нас праздник, когда мы принимаем последнее благословение жизни. Я вижу, ты изумлен. Как мы этого достигли? Как смогли освободиться от злых сил, от борьбы и распрь, которые некогда свирепствовали на Рале и все еще свирепствуют, как я понимаю, на твоей планете? Как научились встречать смерть спокойно и доверчиво? Все дело в том, что лесное племя училось у леса, у растений, а не у диких зверей. У диких зверей нет бога, но лес дышит

богом. Весь растительный мир наводит на мысли о нем. Никто у нас не осмеливается предполагать, что мы знаем его или когда-нибудь постигнем. Никто на нашей планете и не старается понять его или вникнуть в его планы. Но все чувствуют, что это он заставляет прорастать самое ничтожное семечко. До всеистребительной войны люди Раля воображали, что знакомы с ним, знают его образ, все его тайны, планы и намерения. Бог был пустым истуканом, который они начиняли собственными изобретениями и измышлениями. Они приводили его в движение, дергая за бесчисленные веревочки. Этот бог погиб в великом хаосе вместе с теми, кто его создал. С тех пор мы осмеливаемся лишь грезить о боге. Он погружен в великое, глубокое, бездонное безмолвие. Чем глубже наше молчание, тем ближе мы к богу. Когда наш дух немеет в бессознательном благоговении перед *всебытием*, мы ощущаем веяние божественного духа. И Раль когда-то воображал постичь и уловить его словами, возносил к нему мольбы, воспевал ему гимны, славословил его певучими строфами. Были и такие, которые верили, что он—воплощенное *слово*. Что такое слово? Попытка языка выразить мысль. На вашей Дальте мысли выражаются по-другому, чем на Рале. Но сами мысли бессловесны, невыразимы, неизобразимы и всюду одинаковы. Вот почему у нас храм божества есть вместе с тем храм безмолвия, как ты видел. Святость его никогда не оскорбляется

звуком слов. Никакой священник не служит обеден под тысячелетними древесными кронами. Не чадят под ними никакие свечи. Не возносятся к небесному своду никакие искусственные благовонные курения. Все подобное исчезло у нас вместе с капищами наших предков, где хор священников лениво дремал на своих седалищах, гнусавя хвалы богу, толстые свечи коптили в его честь, невинные животныя истекали кровью на его алтарях, и запах крови заглушался запахом ладана. В наших храмах безмолвия шепчет лишь древесная листва, горят и благоухают лишь цветы, поет лишь тишина. Величайший грех сотворенного—наследственный или первородный грех, как его называешь ты—есть желание постичь творца. Гость, мы смиренно признаемся в нашем бессилии. Как мог бы кровяной шарик в наших жилах понять кровообращение в нашем организме, регулируемое нашим сердцем, или извилины нашего мозга? Все, на что мы способны, это лишь смутно догадываться о направлении движения, в которое включены и мы и которое имеет свою цель. На твоей планете воображают, что получали откровение от самого извечного всеначала? Жители Раля получают откровение от деревьев, от цветов. Тот, кто умеет вслушиваться в шелест древесных крон в «храме безмолвия», кто восторгается запахом его цветов, улавливает искру непостижимой, божественной сущности мира. Я, рожденный махровым и неплодоносным цветком, осво-

божденный от любовного влечения, я—в самом себе законченное, цельное слияние двух начал,—свидетельствую, что бог открывает мне себя в благоухании аметистового венчика священного цветка. И я стремлюсь воссоединиться с ним, как аромат цветка стремится излиться в воздух, раствориться в эфире. Я благодарю его за то, что родился свободным от похоти и, представляя собою высшее единство двух начал, мог посвятить всю свою жизнь на то, чтобы светить другим, как вот этот цветок светит нам ночью. Не счесть проделанных опытов для достижения этого результата, для взращения такого цветка-светильника с его мягким, ровным светом, оплодотворяющим тьму мыслями. Ты видишь, это не огонь горит вну три его венчика, но светятся самые лепестки, излучая фосфор, находящийся в его жилках. Так светит и мозг человеческий во славу божества. Всякий, кто родится таким, как я, самой природой предназначен в жрецы извечной сущности мира. Скоро сто лет, как во мне сияет свет жизни. Настанет час, когда я приму высокое посвящение смерти и скроюсь отсюда. И вот, я благодарю непостижимое всеначало за то, что оно на закате моей жизни послало мне тебя, чужестранец, вестником с близкой и родственной планеты, свидетелем того, что и вне Раля существуют люди, стремящиеся к этому всеначалу, тоскующие о воссоединении с всебытием, в котором планеты небесного пространства то же, что кровяные шарики в нашем организме.

А теперь я проведу тебя к твоему ложу; сотвори безмолвную молитву и усни.

XXVIII.

Наука на Рале.

В то время, как Аванти впитывал в себя мудрость старого вождя Раля, товарищи его исследовали и изучали жизнь на Марсе, каждый с интересующей его точки зрения.

Глухой бельгиец Поль де Брон совершал одинокие ботанические экскурсии по рощам и садам всех семи террас с их разнообразными древесными породами и богатейшею цветочной флорой. Ни одно из здешних растений не имело на Земле точной копии. Все формы достигали здесь более пышного развития не только в смысле полезности и питательности, но и в смысле внешней красоты, обилия листвы и пышности цветов. Его исследовательский пыл столкнулся однако с запрещением препарировать растения в целях ознакомления с их строением. Запрещено было подвергать вивисекции и растения, как животных. Марсиане не одобряли и прямо порицали срывание цветов и их анатомирование.

Турок Кемаль-бей изучал животный мир Марса, который оказывался много беднее земного. Множество пород и видов было, повидимому, систематиче-

ски истреблено. Так, он не мог обнаружить ни хищных зверей, ни грызунов. На Рале не признавали за ними права на существование. Кемаль-бей не был ни ученым, ни даже охотником, и разочарование его носило чисто человеческий характер. Все животные с плотоядными или вредительными наклонностями были как бы вычеркнуты из списков фауны. Не находил Кемаль-бей на Марсе и домашних животных. Тут не держали ни коров, ни лошадей. Вместо коровьего молока употреблялось растительное. Лошадей заменяли отчасти огромные крылатые ящеро-птицы, отчасти страусо-жирафы. Добродушные гиганты-быстролеты и скороходы были смирнее и ручнее домашних животных на Земле; кормили же их чем-то в роде осоки. Ящеро-птицы соперничали быстротою с земными аэропланами, но имели то преимущество, что никогда не ломались; двигались они почти беззвучно, не воняли, не стрекотали, и полеты на них никогда не оканчивались катастрофою. Всадник, сидя у них на спине, получал от полета гораздо больше эстетического наслаждения и чувствовал себя более свободным и уверенным, чем земные летчики на их мертвых машинах. Эти ящеро-птицы летали с одушевлением, подымались и опускались с ритмической, гармонической грацией ласточки.

Вообще птицы определяли характер и придавали прелесть животной жизни на Марсе. Все хищные птицы были, повидимому, уничтожены и вытеснены

мирными потребителями плодов и ягод. Кур здесь не держали, так как в яйцах не нуждались. Вообще все виды молочных и других питающих человека животных были заменены растениями. Хищные орлы и грифы не летали над плодоносными террасами. Зато парки и рощи кишмя-кишели певчими птицами и их мирными гнездами в густой листве, изобиловавшей такими плодами, которые росли для одних птиц.

Парки и рощи оживлялись еще многочисленными видами дивных пестрых бабочек; они напоминали крылатые цветы, порхавшие между своими крепко сидящими сестрами, чтобы целовать их венчики с неистощимыми запасами сладкого сока.

Еще во время пребывания в «Ущельи Возмездия» русский, Новиков, начал изучать способы применения и действие лекарственных растений. Марсиане, повидимому, не знали иных лечебных средств, как солнце, вода и целебные травы. Но зато планета не знала и тех ужасных болезней, которые терзали Землю, как напр.: рак, туберкулез и сифилис. На свежих здоровых лицах встречных обитателей Раля он не улавливал отвратительных следов этих болезней, которые надрывают здоровье, старят преждевременно.

Врачебное искусство стояло здесь невысоко, но в нем и не было особой надобности, так как все обходились домашними средствами и травами, действие которых проверено было опытом многих лет.

Новиков напрасно искал чего-нибудь похожего на земную бактериологию. Бактерий, видимо, не существовало на Марсе; должно быть, их давно истребили, подобно другим вредителям.

Некоторые из земных гостей старались уяснить себе социальные отношения на Марсе. Француз Дюмюр и болгарин Рылов особенно стремились проникнуть в подробности распределения труда, но скоро были удивлены открытием, что Красная планета не знала ни специализации труда, ни разделения общества на высшие и низшие классы, ни разграничения профессий умственного и физического труда. Ни один марсианин не воспитывался для роли рабочего скота. Разумеется, и здесь общество не могло обойтись без физического труда, но он, повидимому, распределялся между всеми, являлся всеобщею трудовою повинностью, проводившеюся по известному плану, согласно временам года и возрасту каждого работника. Никто по рождению или воспитанию, положению или сословию не предназначался для унизительной работы на других. Никто не обязан был стирать грязное платье своих сограждан, выносить их отбросы или мыть их тело. Каждый обязан был сам выполнять для себя повседневную работу.

Рылов, в силу контраста, напомнил товарищам разные виды рабского труда, еще процветавшего у них на Земле: ад кочегаров, подземные мытарства углекопов. Да и на улицах и площадях земных

городов можно было встретить примеры самых рабских услуг, унижающих человека. Рылов рассказал про одного несчастного калеку—чистильщика сапог, которого он встречал несколько лет подряд на улицах Софии. Одна нога была у него отрезана до бедра, и грязен он был, как ходячая навозная куча, так как не в состоянии был содержать себя в чистоте. Старый, седой, изможденный, с гноящимися глазами, он напоминал паршивого больного пса и весь день покоил свою бедную искалеченную ногу на соломенном стуле, поставив рядом свой костыль. С раннего утра до вечера торчал он на солнцепеке, поджидая случайных клиентов. Когда же кто-нибудь ставил ногу на его ящик, ему приходилось вставать, уступая клиенту стул, и опускаться на колени в грязь мостовой, чтобы вычистить запачканные сапоги, стоявшие перед ним, как на алтаре. Задачей всей его жизни было полировать грязные ноги, перед которыми он стлался во прахе. Медная монетка была ему наградой за его рабский труд.

Ничего подобного не наблюдалось на Марсе. Здесь каждый был сам себе слуга. Никого не воспитывали заранее, как обреченного на всю жизнь тянуть лямку отупляющей однообразной работы. И никого ни рождение, ни воспитание не избавляло от обязанности нести свою долю труда, необходимого для процветания общества. Все воспитание было направлено на то, чтобы привить каждому разносто-

ронние трудовые навыки и дать ему возможность попеременно принимать участие во всякой работе. Лень и ненависть к работе, столь частые на Земле, обусловливались узкой специализацией труда, делающей отдельного рабочего как бы частью машины. На Марсе работа распределялась не по специальностям, а по срокам и по возрастам. Ежедневно работа менялась и разнообразилась, почти сходно с распределением уроков в школе, где занятия варьируются с целью поддержать интерес в учениках и не доводить их до утомления. Принималось во внимание различие сил и возрастов, при чем в соответствии с возрастом физический труд постепенно все более и более заменялся умственным. Участие в уходе за деревьями, растениями и цветами, занимавшем виднейшее место в культуре Раля, считалось каждым марсианином за *право*, а не за обязанность.

Грек Планетарос напрасно искал следов художественного развития того антропоморфизма, в котором никто еще не превзошел мастерством его предков, древних эллинов. Здесь не было мертвого ваяния; всякое стремление к творчеству находило себе выражение в жизни, в совершенствовании людского рода и растительных пород. Чтобы разыскать остатки и обломки изобразительных искусств, ему приходилось делать раскопки в развалинах, бок-о-бок с англичанином Уоткинсом, настойчиво стремившимся воскресить историю прошлого планеты. Американец Уиль-

ямс также жадным взором смотрел на необъятную пустыню кладбища раздавленной культуры и тоже вел раскопки, хотя задача воскрешения этой культуры была, пожалуй, еще более безнадежной, чем все земные попытки восстановить Ниневию и Вавилон.

Марсиан подобное углубление в тысячелетний прах забытого прошлого, повидимому, ничуть не интересовало. Они преспокойно оставляли целую часть света под песчаным саваном, хотя из сохранившихся под ним обломков можно было бы воздвигнуть музеи, куда более обширные, чем земная Помпея. И вот, в то время, как Уоткинс собирал еще не забытые старинные сказания и мифы, Уильямс бродил по пустыне, стараясь из выветрившихся обломков извлечь сведения о похороненной здесь культуре. К большому своему огорчению, он не мог найти рабочих рук для производства раскопок в более широком масштабе. Марсиане оставляли мертвую культуру мертвецам. А сами, как птицы и растения, жили только жизнью населенных областей. Они ничего не смыслили в окаменелостях.

Крафт интересовался степенью развития на Марсе естественных наук, физики и химии. Достижения механики были здесь очень незначительны в сравнении с Землей. Силы природы или мало, или вовсе не были использованы в качестве двигательной силы. Электричество почти не применялось. Телеграфа и телефона вовсе не знали. Марсиане приходили в изу-

мление, когда Крафт пытался объяснить им, что на Земле можно говорить по проволоке за сотни верст и посылать вести через всю планету при помощи невидимых токов. Не имели здесь никакого понятия и о паровых двигателях и о других моторах. Воздух здесь не портился ни каменноугольным дымом, ни вонью газа. Зато жизненная сила растений доведена была до феноменальной высоты развития. Некоторые деревья аккумулировали токи. Кора их светилась. Выращивались цветы, служившие светильниками. Светящиеся растения обладали чудесным свойством абсорбации любого астрального света, начиная с белых лучей дневного солнца и кончая мерцанием самых отдаленных звезд. Поливая всасывающие солнечный свет растения особыми жидкостями, можно было сообщить им яркость горящего магния.

Путем сложных химических процессов этою светочувствительностью растительной клетчатки пользовались также для фотографирования жизни и ее живых красок. На больших, сотканных из особых растительных волокон полотнах, в роде наших целлюлоидных фильм, запечатлевались невидимые фотографические изображения сцен жизни и картин природы, которые выступали затем под действием света различных светящихся растений, воспроизводя все натуральные оттенки и сменяя друг друга в том же порядке и с тою же скоростью, с какой полотно впитывало в себя фотографические отображения.

Эти живые картины заменяли книги и употреблялись для наглядного обучения в школах. На Земле фильмы производили впечатление фантастических игрушек, кукольного театра, где размалеванные актеры разыгрывали комедии или трагедии, сочиненные для развлечения готтентотских мозгов; здесь же демонстрировались снимки с натуры, правдивые отображения подлинной жизни. Самое изобретение восходило, повидимому, к очень древним временам, потому что во многих «храмах безмолвия» хранились снимки, относившиéся к эпохе *до* всеистребительной войны. Некоторые картины удалось, стало быть, спасти от гибели. Их показывали по праздничным дням и называли эти отображения жизни больших разрушенных городов, эти памятники смертоносной хищной культуры «Зеркалом правды».

О самом «Зеркале правды» Крафт пока только слышал, но уже видел современные живые картины в школах, где дети Марса наглядно усваивали все знания и сведения о природе и о жизни, которая их ожидала впереди.

Лично Крафт сильнее всего заинтересован был возможностью снестись с покинутой планетой. Не столько в целях установления связи между двумя мирами, сколько ради сообщения домой о том, что экспедиция достигла цели; главным же образом, чтобы послать привет своей земной любви, дать знать Короне, что он жив.

Он не имел в виду оптических сигналов, наподобие некогда проектированных на Земле пифагорийских огненных письмен над пустынею Сахары. Его целью было пламенное излияние лишь по адресу одной единственной.

Наконец, ему удалось, с помощью мудрого вождя Раля и пользуясь разными ступенями семи далеко отстоящих одна от другой террас, начертить в воздухе световую фигуру. На всех намеченных пунктах одновременно зажжены были ослепительные сигнальные огни. Твердо веря, что *одна*-то обсерватория на Земле во всяком случае неусыпно наблюдает за Красной планетой, Крафт надеялся, что эти семь ярких огней будут замечены и поняты. Их расположение в точности соответствовало дугообразному расположению звезд в созвездии *Венца* или *Короны*. Это имя, пламенеющее на диске Марса, даст *ей* знать, что ее Александр жив и шлет ей привет с населенной планеты!

С торжественным благоговением смотрел он, сидя на спине своего летуна, на эти семь прожекторов, которые должны были гореть целые сутки, сияя в тишине зеленой ночи Марса.

XXIX

Первобытное лоно.

Большинство товарищей Аванти были разочарованы тем, что этот новый мир все-таки столь мало отличался от земного. И здесь ведь владычествовал человек, подобный земному. Им непонятен был восторг Аванти по поводу того, что высшие жизненные принципы и здесь оказались воплощенными в той же форме: единственной доступной и понятной человеческому воображению, а потому самой правильной и самой совершенной. Их фантазия обещала им куда более феноменальные явления, пусть бы даже они шли в разрез с «вселенским разумом», как уверял их вождь.

Эрколэ Сабенэ тоже был недоволен. В этой легкой, как бы омолаживающей атмосфере кровь его обращалась в жилах быстрее, и у него разыгрывался аппетит к жизни. Вдыхая все эти растительные благовония, он все принюхивался, стараясь уловить аромат цветка, наиболее распаляющего чувства земного смертного. И он был не одинок в своих поисках. Даже такие антиподы, как японец и пруссак, искали в этом раю, если не змея, то женщину.

Самый воздух был по-женски мягок и нежен. Вечера были долгие, кротко-мерцающие. Две маленькие луны всходили и заходили над чарующею

флорою. Парки и сады выдыхали ароматы. Богатый растительный мир был полон женской плодоносной прелести. Томакура уносился мыслями к теплым ночам в Иошиваре, к снежно-белым цветам азалий в темной зелени кустов, к шелесту бамбуков и дыханию ирисов в крохотных садиках. Фон Хюльзен вспоминал парки помещичьих усадеб Померании, запах хвои, белые блузки и розовые зонтики над золотистым шелком волос и нежным пушком шейки, пониже затылка. Эрколэ Сабенэ мечтал о Монте-Пинчио с напудренными, благоухающими красавицами.

Но тут не было ни Корсо, ни бульваров с музыкой, ни вереницы экипажей с целой выставкой прекрасных лиц. Здесь нигде и никогда нельзя было увидеть скопления женщин. Они, видимо, были рассеяны по всем террасам, как драгоценнейшие, редчайшие цветы домашних садов. Чаще всего мелькали матери. Но не окруженные детьми, как на Земле. Нет, то мать, играющая с одним малюткой, то мать, кормящая младенца грудью под сенью тысячелетних священных деревьев. Назначением женщины было блюсти семейный очаг и ухаживать за маленькими детьми.

В домашние сады чужих не допускали, и Эрколэ Сабенэ с Томакурой только глядели на них издали, как на землю обетованную. Но в то время, как японец мирился с тем, что сады эти остаются для него

как бы запретными «цветочными лодками», Эрколэ Сабенэ не терял надежды, что наступит момент, когда эти цветочные клетки откроются и драгоценные колибри выпорхнут из них на волю.

И размножение и воспитание имели здесь, повидимому, одну единственную цель—создание наисовершеннейшей породы. И земные гости были достаточно компетентны, чтобы оценить уже достигнутые результаты. В сравнении с мужчинами женщины Марса были миниатюрны и чрезвычайно нежного сложения. Такие, словно точеные, стройные, тонкие и хрупкие фигурки встречались на Земле только среди кровных аристократок. Фон Хюльзен называл ручки и ножки марсианок «ангельскими». Эрколэ Сабенэ нашел однажды в траве оброненную девичью сандалию и долго с изумлением созерцал отпечаток узкой ножки на зеленом листке! На Марсе девушки не ковыляли на острых каблучках и не втискивали ноги в узкие футляры из кожи животных, но травяными стеблями привязывали к своим белым ножкам зеленые древесные листы, подобно тому, как древние римляне обвертывали ногу лоскутом кожи. Леса были полны таких зеленых сандалий.

Лица у всех были белые и нежные, кожа почти прозрачная. Глаза карие и словно пронизанные солнцем. Густые черные или темно-каштановые волосы мантией одевали спину и плечи. Одежда походила на тунику из тонкого тюля, цвета крокуса. Пояс

напоминал четки из алых ягод боярышника. Ни волос, ни одежды не принято было украшать цветами, которые считались ведь неприкосновенными. Срывать можно было только плоды; бесплодные цветы увядали на ветках.

Воспитание детей и юношества велось в школах-садах, особых для мальчиков и для девочек. Лишь взрослыми и те и другие получали доступ в «рощу возмужалости». Там происходил подбор, первое посвящение в жизнь и в тайну любви. Молодые люди обоего пола ежедневно встречались, пока по свободному выбору не составляли пар и не заявляли в преддверии «храма продолжения рода» о своем желании познакомиться поближе. Преддверие это также представляло большую рощу из благородных, отборных древесных пород, под сенью которых обрученные пары гуляли, сколько им было угодно, пока не переступали последнюю грань. Тогда они заявляли о своем желании быть вместе записанными в «книгу жизни», на вечном древе которой являлись лишь отдельными листками. С помощью особого зажигательного стекла, устройство которого осталось тайной для так и не видевших его жителей Земли, любящим выжигали на груди портреты друг друга в знак того, что образы эти должны запечатлеться в их сердцах. И после того союз их освящался в самом храме-саду, где вечно цветущие и редчайшие, никогда еще невиданные ими дотоле цветы, кусты и

деревья давали благоуханный приют их молодому счастью. Лишь когда невеста чувствовала себя забеременевшей, пара возвращалась обратно в мир.

Чтобы избежать нового перенаселения планеты, уже приведшего некогда к всеистребительной войне, на Марсе соблюдалось строгое равновесие между числом рождений и смертей. Жители Земли долго не могли надивиться тому, что эту систему удалось провести. На Земле они привыкли к совершенно свободному и беспорядочному удовлетворению полового влечения, не знавшему никаких границ, даже в смысле половой зрелости. Тут они встретили людей, которые не спаривались неудержимо и бестолково, как животные, но добровольно подчинялись правилам, регулировавшим продолжение рода. Одним из первых условий была физическая и духовная беспорочность обоих родителей и их обоюдное искреннее желание иметь чистое и беспорочное потомство.

Такие порядки требовали, разумеется, строгого контроля. Подрастающее поколение находилось под неусыпным наблюдением и подвергалось частым осмотрам. Лишь безупречные особи того и другого пола получали доступ в «рощу возмужалости», а оттуда в «храм продолжения рода». Жителей Земли интересовало, каким же образом удавалось обезопасить общество от последствий взрыва полового инстинкта в индивидах, недостойных священного права размножения. Оказалось, к их изумлению, что на

Марсе систематически применялась операция, которая на Земле не пошла пока дальше отдельных опытов над неисправимыми преступниками, а именно: стерилизация, навсегда лишавшая мужчину оплодотворяющей силы, не уничтожая в нем самого полового инстинкта и всех с ним связанных жизненных особенностей. То есть, не кастрация, а невинная перерезка семенного канатика. В данное время, впрочем, случаи применения этой операции в целях предотвращения размножения негодных индивидов стали редки—настолько раса была уже усовершенствована, очищена. Стерилизация женщин применялась еще реже—лишь в случаях атавизма животной половой невоздержности, болезненного полового влечения, известного на Земле под названием нимфомании.

Жители Земли все-таки сомневались в возможности поддерживать равновесие между числом смертей и рождений. Каким образом можно было помешать беспорочному мужу размножаться сверх дозволенного? Нормою считались ведь два потомка, и лишь в виде редкого исключения особым избранникам дозволялось иметь свыше трех. Земные понятия свободы и равенства были глубоко оскорблены, когда гости узнали, что стерилизации беспощадно подвергается вообще каждый мужчина, осуществивший свое право на отцовство законное число раз. После появления на свет каждого ребенка отцу выжигали неизгладимое клеймо: изображение солнца, сначала на левом,

потом на правом плече. В случае особого расового совершенства он удостаивался еще одной метки—на спине, и лишь самый высокочтимый вождь мог рассчитывать на четвертую, на груди.

Столь драконовский регламент отталкивал от себя почти всех земных гостей. Они находили неограниченную свободу размножения на Земле более отвечающею их идеалам. Но Аванти указывал им на результат: на Марсе жила идеально развитая, отборная раса. И на Земле ведь подобным же образом облагораживались породы ценных домашних животных. Почему же не перенести эти принципы на человеческую породу? Не ввести регламентированное детопроизводство взамен зверского и во всяком случае варварского способа размножения, при котором даже пьяницы, больные и преступники имеют неограниченное право переполнять на Земле своим потомством все больницы и тюрьмы?

Высшей целью марсиан было получение благородного и чистого потомства. Все недоношенное, болезненное или неудачное безжалостно уничтожалось при самом рождении. На Рале были неизвестны приюты для слабоумных или для калек. Неудачное производство беспощадно браковалось. Считалось необходимым выпалывать сорные травы и из нивы человеческой. Жители Земли отрещивались от таких жестоких принципов. Они с самого рождения привыкли к той точке зрения, что неудачливые дети

особенно нуждаются в любовном уходе; чтобы легче нести свою долю. Эрколэ Сабенэ с чувством глубокого сострадания вспоминал вереницы всевозможных калек, осаждавших паперти церквей и располагавшихся на углах наиболее людных улиц под охраной своего убожества. У кого хватило бы духу лишить этих несчастных права на существование? *Беспомощность требует помощи*; в этом ее смысл и цель. Разве могло вечное милосердие оставить на произвол судьбы самых беспомощных: новорожденных младенцев и дряхлых старцев?

Идеализм марсиан был иного характера. Они считали планетную жизнь лишь переходной ступенью и их задачею было облагородить и усовершенствовать то, чему предстояло существовать далее. В силу этого лишь здоровое, беспорочное и жизнеспособное пользовалось уходом и попечением. Заставлять же неудачные или порочные отпрыски влачить безрадостное существование казалось неразумным продлением непоправимого зла. Поэтому неудачные ростки вырывались с корнем, неудавшееся потомство животных и людей браковалось и уничтожалось.

Не знали на Марсе и беспомощных старцев. Никто не цеплялся за жизнь, когда физические и умственные силы истощались. Смерть была добровольным, дозволенным уходом из жизни. На Дальте это называлось самоубийством, на Рале же—носило

более красивое наименование: «великое отбытие». И никто не оттягивал своего прощания с жизнью до наступления дряхлости и разложения. Тот, кому приспела пора совершить это знаменательное, интереснейшее путешествие, не откладывал его, не ждал, пока окончательно ослабеет и надломится.

Этим же объяснялось отсутствие на Марсе могил и кладбищ. Здесь не существовало «городов мертвых», какими обзавелась в течение тысячелетий Земля, этих скоплений каменных склепов или урн, или земляных насыпей—уменьшенных подобий селений живых людей. Города мертвых создавало представление живых, что усопшие должны «отдохнуть» от многотрудного земного странствия, обрести «мир» в своих собственных «домовинах», правда, малых и тесных по сравнению с домами живых, но все же хоть в виде урны дающих упокоение праху мертвых. Как будто мертвые нуждаются в этом!..

У марсиан был совсем иной взгляд на смерть. Они не боялись ее. Во-время снаряжались в великий путь. Если болезнь или внезапная кончина не заставала их врасплох, они добровольно садились в «ладью Смерти» и отплывали в неведомый край.

Вот куда вел тот широкий канал, над которым Аванти с товарищами пролетали по пути из великой пустыни в населенный пояс Марса. Такие каналы прорезывали весь этот пояс, чтобы уносить отживших свой срок людей из жизни навстречу

неведомому. Все эти каналы текли в одном направлении. Никто не знал, где они кончались; ходили лишь смутные сказания о том, что они впадают в огромный неисследованный океан, называвшийся «первобытным лоном». Никто никогда не снаряжал экспедиций для исследования этого океана Смерти. Каналы были выходными вратами из мира живых, океан—общим лоном, куда возвращалось все живое и мертвое.

По каналам смерти удалялись не только добровольно, по их течению сплавляли все то, что считалось недоразвитым и нежизнеспособным, все уродливое, больное, порочное, а также скоропостижно умершие, и оно никого никогда не приносило обратно.

Ему вверялись убийцы вместе с трупами их жертв, прелюбодейные пары и всякий, не желавший искупить содеянное им зло. Добровольное отбытие было праздником, принудительное—наказанием, но лишь для тех, кто еще был привязан к этой жизни. Все несовершенные создания возвращались в «первобытное лоно» для переплавки, а те, которые прожили полную жизнь на Рале, стремились в материнское лоно вечности, чтобы возродиться в еще более совершенном виде.

С отбытием не связано было никаких ужасов. Отплывающим давался снотворный цветок, действовавший, как наркотическая маска; нюхая этот цве-

ток, люди в блаженном экстазе отплывали в ладье Смерти по желтым водам канала.

XXX

Парк бесплодия.

Эрколэ Сабенэ безнадежно вздыхал о запретном райском плоде, каким была для него и его эротических единомышленников женская красота на Рале. Вместе с японцем Томакурой бродил он вокруг недоступной золоченой клетки.

Здесь не было продажного товара. Да и чем мог бы он заплатить? У него не было ничего, что имело бы цену на чужой планете. Даже никаких личных преимуществ. Те немногие марсианки, которым ему удалось заглянуть в глаза, по-видимому, даже не поняли его взгляда. Резкие черты его римского лица с черными косматыми бровями не очаровывали, не привлекали, а в лучшем случае возбуждали лишь любопытство, как приметы выходца из другого мира, где мужская наружность была грубее, ближе к звериной, чем та, которая соответствовала здешнему идеалу.

И военщиной здесь не интересовались. Напрасно Эрколэ Сабенэ принимал самый свой молодцеватый вид героя окопов. Даже будь у него с собой все его воинские доспехи, чтобы выступить в полном параде, и тогда его геркулесовские плечи не произвели

бы здесь никакого впечатления. Что значили здесь блестящие пуговицы, галуны, золотые звезды на воротнике, красные, синие и желтые выпушки, украшенная спектром грудь? Сам командир лейб-гвардии, во всем своем величии и великолепии, с пылающими лампасами на черных штанах, в мундире, расшитом серебром, украшенном шнурами и аксельбантами, в золоченом шлеме с сияющим гребнем и пышным султаном, не влюбил бы здесь в себя никого; на него посмотрели бы лишь, как на распетушившегося человеческого самца.

Увы! На Рале вообще, повидимому, не имели понятия ни о любовной войне, ни о любовных победах. Здесь любовь была как бы одним из предметов учебно-воспитательной программы: окончившие школу молодые люди подвергались экзамену на своего рода «аттестат зрелости»; экзаменаторами являлись двуполые жрецы, а женщина была наградой за хорошо усвоенный курс. Всякие же медали и кресты за храбрость не играли здесь никакой роли.

Эрколе Сабенэ становилось скучно. Весь здешний режим казался ему жалким. И вместе с тем его двойственная натура подымала мятеж. Марсианки казались ему очаровательными, несмотря на их ледяное равнодушие к нему.

То же самое происходило с японцем. На своей родине он привык дарить своим восхищением и любовью нежных, как цветы, женщин, вся прелесть

которых была в их покорности, в тихих скользящих движениях, в птичьем щебетаньи, в кротком характере; их ведь с детства обучали искусству любви, любви нежной, изящной, целомудренной. Храмами этого искусства служили «цветочные лодки» или «чайные домики», и лишь испорченные европейцы могли заклеймить их названием притонов разврата. Здесь, на Марсе, японец мог предполагать еще большее богатство женской прелести и красоты, чем где бы то ни было. К сожалению, здесь не было ни чайных домиков, ни Иошивары, а лишь какой-то университет любви, куда можно было попасть только по строгому экзамену.

Эрколэ Сабенэ все-таки попытался пустить в ход свои испытанные земные уловки. Он повел атаку в ячейке своего хозяина, атаку на его законно приобретенную супругу. Она была беременна и относилась к мужу с трогательной нежностью и преданностью. Эрколэ громко вздыхал по ней; пожирал ее глазами; под всякими предлогами старался прикоснуться к ее обнаженному правому плечу, что на Марсе считается большей фамильярностью, чем рукопожатие на Земле; впивал в себя ее аромат, как благоухание цветка; преклонял перед нею колени, чтобы завязать зеленый листок на ее беленькой, прекрасной ножке.

Однажды, когда она в саду-столовой пригнула к его губам ветку с отборными плодами, губы его

вместо того, чтобы схватить плод, неожиданно прильнули к хорошенькой ручке. Он целовал и ласкал ее тонкие пальчики, она же так удивилась, что даже забыла отнять руку. Его поцелуи забирались все выше по ее ослепительной обнаженной руке, пока, наконец, молодая женщина не отдернула ее и не отряхнула с таким же ужасом, с каким земная женщина стряхнула бы с руки ужалившего ее скорпиона.

С тех пор он больше не видел марсианки. Она не показывалась ни в саду, ни в парке. Ее маленькая шестигранная средняя келья была закрыта для него, а в соседних она уже не появлялась. Эрколэ Сабенэ подумал было, что она готовится родить или родила, но скоро убедился, что она просто избегает его. Ее муж продолжал оказывать ему гостеприимство, но Эрколэ понял, что безвозвратно потерял право видеться с его женой.

Эрколэ Сабенэ злила такая чопорность. На что это похоже? Неужели столь пустячная вольность со стороны мужчины принимается здесь женщиной за кровную обиду, которая навсегда лишает его ее общества? Неужто все марсиане — люди без крови, без темперамента? Каким же образом удовлетворяют они любовное влечение помимо официального спариванья в храме, сопряженного с записью в книгу жизни, с предварительным экзаменом и строго урегулированным размножением? Позже он узнал, что

и на Марсе была известна неофициальная любовь, нечто в роде проституции, к которой прибегали мужчины, когда чувствовали потребность.

Ниже всех парковых и садовых террас, в густой заросли кустарников, на которых вместо настоящих цветов зеленели лишь бутоны, похожие на зерна перца, ютились узаконенные «дома любви», напоминая подобные же земные притоны тем, что, как и отхожие места, располагались в сторонке, щадя общественную стыдливость.

Открыв существование подобных домов, Эрколэ Сабенэ пригласил японца и пруссака отправиться вместе в чащу на разведки. Всех их влекло любопытство. Но они жестоко обманулись в своих ожиданиях, воображая, что девушки Марса пойдут им навстречу.

Вместо грота Венеры они нашли мрачную, заросшую долину, откуда и не подумал вылететь им навстречу рой пикантных бабочек. У входов в поросшие мохом беседки не виднелось размалеванных красавиц. Ни одного открытого окна или оконца в большом хмуром, похожем на сарай доме... Ниоткуда не выглядывало беленького приветливого личика, не слышалось ласкового зова. Все как-будто вымерло в зеленых сумерках чащи сорных растений, каких земные гости нигде больше не встречали на Марсе.

По мере приближения их к ступеням красного крыльца с красною же дверью ими все сильнее

овладевали сомнения. Каковы-то окажутся здешние гурии? Вдруг они примут чужестранцев столь же чопорно, как проэкзаменованные супруги? И чем здесь платят? Разврат—ведь купленная любовь. А на Марсе не было прямых денежных знаков.

Уже стоя перед красной дверью, они рассмотрели вывеску—желтый рисунок, изображавший какой-то непонятный им символ, ничем не напоминавший те, которые служили вывесками лупанаров древности. Скорее всего это была геометрическая фигура: тупой угол, каждая сторона которого кончалась шаром. Замечалось, как правильно заметил фон Хюльзен, и сходство с рисунком на спине очковой змеи. Может быть, он служил намеком на змия в раю?..

Навстречу им вышел сторож — вероятно, двуполый жрец,—на обязанности которого лежало экзаменовать посетителей!

Да, совершенно верно: он знаками дал им понять, что должен осмотреть их грудь, и, осмотрев, категорически отказался впустить их в капище, состоявшее, повидимому, из ряда ячеек-келий, не имевших даже обычного верхнего освещения. Никакие протесты гостей не помогли. Привратник сумел объяснить им, что на груди у них нет знака, намалеванного на дверной вывеске. Венерин грот оказывался доступным лишь тем, у кого имелся подобный «пропуск».

Внезапно Эрколэ сообразил, что этот знак является своего рода печатью, накладываемой на тех, кто под-

вергался законной стерилизации. Эти сумрачные дома любви были, стало быть, открыты только стерильным мужчинам, т.-е. тем, кто уже произвел на свет законное число детей и не довольствовался своей законной супругой. Или же тем, кто был стерилизован в наказание либо за содеянные эротические преступления, либо за другие пороки, которые делали этих индивидов нежелательными продолжателями рода. Итак, чтобы войти, надо было показать печать, т.-е. предварительно подвергнуться стерилизации. Никто из жителей Земли не согласился на такую постыдную в их глазах расплату, а потому «парк грехопадения» остался для них недоступным.

«Свободная» любовь, таким образом, становилась планомерно проводимою культурою бесплодия, препятствовавшей появлению потомства у кого-либо, кроме избранных. Все рождения строго контролировались, и если редкий раз рождался плод тайного греха, и отца и мать вместе с ребенком сплавляли по каналу Смерти обратно в «первобытное лоно», как все недоношенное, неудачное, порочное.

Такая принудительная ссылка в безвозвратный путь сильно отличалась от добровольного отбытия, на которое имел право каждый честный марсианин, когда чувствовал, что время его подходит. Добровольное прощание с жизнью происходило при свете солнца в праздничной обстановке. В принудительную ссылку отправляли в полночь, и она пугала всех

благонамеренных. Фон Хюльзен тоже не раз содрогался при мысли, что ему грозила эта зловещая участь: во мраке ночи быть усаженным в утлую ладью вместе с мертвою жертвой.

На обратном пути из «парка бесплодия» Эрколэ Сабенэ дал волю досаде, вызванной в нем этою жалкой марсианской пародией на проституцию. Какая разница с необузданными радостями свободной любви на Земле, в больших городах, где жрицы наслаждения сияли красой баядерок и дарили своих любовников блаженством, о котором эти дураки, марсиане, и понятия не имели!..

XXXI.

Навстречу смерти.

Долгие летние дни на Марсе становились короче. Листва роскошных лесов зарделась под лучами солнца, которое только теперь начало припекать. Солнце передвигалось к северу, но никаким полярным бурям не прорваться было сквозь густой пояс лесов, защищавший мирную область экваториальных террас.

Ярко рдели и пышные, сочные плоды. Казалось, сосцы природы готовы были брызнуть здоровыми млечными соками. Марсиане собирали в сосуды запасы сока для питья и сушили в прок хлебные плоды. На известняковых ступенях террас лежали горы

плодов кораллового цвета. Кроны тысячелетних деревьев стали пурпурными шатрами.

Американец Уильямс чувствовал себя совсем как дома; эти картины напоминали ему осенние багряные леса на берегах Гудзона. А Томакура вспоминал горные склоны Никко, где нежная вырезная листва чудесных кленов окутывала храмы царской багряницей. Но осень не принесла с собой равноденственных бурь, которые сорвали бы с дерев их медно-красные листья. Они оставались на ветвях до самых весенних ливней, смывавших с деревьев старую листву и заставлявших молоденькие почки развертывать сочную смарагдовую зелень.

Солнце только-что взошло над тихою лесною страной, золотя самые верхние купола, зажигавшиеся янтарным блеском, когда старый вождь марсиан, «Великий Безымянный»—как его называли—начал спускаться из своей звездной башни, купаясь в потоке сверкающих лучей. Он провел ночь в созерцании ярких осенних звезд. И глаза его сияли сверхъестественным блеском. Но черты лица были белее мрамора, лик уподоблялся серебряному зеркалу, на котором звезды начертали свои небесные письмена. Вместо обычной белой одежды он облекся в пурпур, под цвет рдеющей листвы деревьев.

Опираясь на золотой посох, увенчанный лотосом, спускался он по бесчисленным ступеням. И со всех террас, из всех садов стекались к нему толпы

народа. Красноклювые летуны приносили гостей издалека. Все они ожидали его у подножья последней лестницы. Он проходил вдоль рядов, приветствуя каждого в отдельности прикосновением к правому плечу.

Аванти и его спутники тоже находились в толпе. Известие о прощальном празднике разбудило их еще до восхода солнца. Но лишь теперь, увидав Великого Безымянного в пурпурной тунике, поняли они по его бледному просветленному лицу, что прощание предстоит *ему*. Уже самый вид старца взволновал их. Еще больше волновала их предстоящая разлука их друга с жизнью. Безмолвно теснились они к нему.

Никто не произносил ни слова. Зазвучал «гонг вечности». В этих монотонных органных звуках чудились прощальные вздохи всех окрестных лесов. Но не скорбью и не болью звучали они, а глубоким торжественным благоговением; такое же благоговение отражалось на лицах всех марсиан.

Только Аванти и его товарищи испытывали щемящую тоску. Их земные предрассудки мешали им безбоязненно смотреть в лицо смерти. Эта встреча в ранний утренний час напоминала проводы любимого друга на эшафот. И они смотрели на старца, как ученики на Сократа, которому предстояло осушить кубок с ядом и добровольно последовать зову смерти, повинуясь законам, которым он следовал всю свою жизнь.

Но лицо старца попрежнему сияло. Этот человек, за всю свою долгую жизнь не испытавший счастья любви и радостей отцовства, шел на смерть, как на свадебный обряд. С юношеской живостью поднял он свой жезл и повел длинную, волнующуюся вереницу своих провожатых в плодовый сад. Раннее утреннее солнце играло в дивной багряной листве, бросая пылающий отблеск на лица всех. Не слышно было ни пения птиц, ни голоса человеческого, лишь звуки металлического гонга дрожали между тихих стволов.

Впереди всех старец прошел к раскидистому дереву, которое, очевидно, нарочно приберегали для такого случая. Оно изобиловало маленькими, круглыми золотисто-красными плодами, висевшими настолько низко, что старик мог срывать их руками.

Воткнув посох у корней дерева, старец начал срывать плоды и раздавать их всем подходившим к нему по очереди. Жители Земли тоже подошли и получили свою долю. Многим из них невольно вспомнился обряд причащения на Земле. Эрколэ Сабенэ задумчиво смотрел на маленькое райское яблочко, думая: так вот оно, причастие марсиан!

Все держали маленький блестящий плод в протянутой правой руке, устремив взор на вождя. А он стоял в центре толпы, держа яблочко обеими воздетыми руками. Наконец, он прервал молчание. Его речь звучала медленно и ясно; даже жители Земли понимали ее, как-будто слышали свой собственный

родной, чуть ли не забытый язык. Слова старца, на густом фоне гонга, звенели жемчужинами, сыплющимися в глубокую металлическую чашу:

— О жизнь, святая, чистая и вечная! Благословенна ты в последний мой и лучший час! Благодарю тебя, непостижимое начало, за то, что жить дало мне средь цветов планеты, не принося плодов подобно лучшим среди них. Не зная радостей отцовства, не знал зато борьбы и муки страсти. Всю волю жизни мог сосредоточить на укрепленьи вечных устремлений, которые ведут народ мой к совершенству. Я не оставил семени в потомках, что будут продолжать мой род, зато владыка жизни заронил мне в душу семя, что дало крылья ей и силу воспарить в миры иные.

Благодарю творца вселенной, неизреченного, непостижимого, живущего вне нас и в нас; того, кто говорит в молчаньи вечном и чье дыханье — аромат цветов, чьи мысли — звезд круговращенье. Нам не дано познать его вполне, пока мы в этом мире, но мы не ропщем на свое незнанье. И я избрал вот этот дивный, ясный день для странствия в иной, неведомый нам мир.

Благословляю жизнь, мне данную. Я посвятил ее тем устремленьям, которые роднят здесь всех нас. Я славил *вечное* биеньем каждым сердца. Вся жизнь моя была блаженством, ведь с каждым днем я больше прозревал. Я взращивал добро, любил цветы,

молчание и звезды. Ловил дыханье Космоса. Теперь я жажду нового прозренья, какое может дать лишь смерть. Я жажду возрожденья к жизни в лучшем мире.

Благодарю вас всех, с кем жил я странником на Ралё. Я покидаю вас. Но здесь нет ни единого, кто рано или поздно за мною следом не пойдет. Мы свидимся!

Благодарю творца еще за радость — узреть гостей с сестры-планеты. О чем века мы грезили, гадали, вдруг стало явью. Законы жизни неизменны для всех планет. Повсюду жизни семена посеяны началом вечным. И всюду, где условия похожи,— одни и те же формы повторяет жизнь. Чего ж страшиться нам, когда отвсюду нам светят очи звезд? Не одинок в пространстве мировом наш Раль. Мы связаны теперь живою нитью с планетой, что была для нас миллионы лет загадкой.

Благодарю того из чужестранцев, чье страстное стремление сумело тончайшей нитью с Дальтой Раль связать. Да укрепится эта связь! Приветствую всех братьев здесь и там!

Привет всем, всем в благословенный день, когда мне предстоит родиться вновь. Свой лучший и сладчайший плод подносит мне жизнь в прощальный час, когда готовлюсь я перейти в тот мир, где станет зорче, светлей мой взор и плотский и духовный. Мы свидимся! Мы свидимся! Мы свидимся!.. Все, до свидания!..

При этих прощальных словах все поднесли к губам круглые плоды. Жители Земли последовали общему примеру. Маленькое золотисто-румяное яблочко сразу растаяло во рту. Никто не проронил больше ни слова; старый вождь приобщился вечному молчанию.

Эрколэ Сабенэ и в эти минуты не мог побороть в себе привычки рассуждать и сравнивать. Сочный плод напомнил ему вкусом южно-итальянский кизиль, но во рту не осталось крупной, гладкой косточки. Итак, эти язычники-марсиане тоже признают мистический обряд причащения!

С этого момента безмолвие нарушалось лишь торжественным звоном гонга, сливавшимся со стуком сердец присутствующих. Аванти казалось, что звон этот раздается в нем самом и как-будто гонит в его жилы кровь из невидимого мирового сердца. Он вспомнил о своих немых беседах с мудрым старцем, который сравнивал души человеческие с живыми кровяными шариками в вечном круговороте жизни. И ему почудилось, что он различает в этой тишине ритмические удары всемирного пульса, передающиеся от звезды звезде. «Вот она — музыка сфер!» — думалось ему.

Шествие направилось к «храму молчания». Старец один скрылся в самой храмине. Все его спутники остались ожидать его в аллее из гигантских бамбуков, блестящие высокие стебли которых выси-

лись, подобно органным трубам, глухо откликаясь на звуки гонга, а тонкие лезвия их листьев трепетали на фоне солнечной лазури.

Когда старец вновь появился, солнце стояло уже высоко. И теперь не проронил он ни звука. Лицо его стало еще белее. Восторженный взгляд устремлен был на цветок, венчавший его жезл, который он обеими руками бережно подымал кверху. Цветок был уже другой. Вместо лотоса на золотом стебле посоха пламенел крупный алый цветок, в роде мака. Он казался перезрелым и готовым осыпаться. Крупные кровавые шелковистые лепестки бессильно свисали, обнажая почерневшую сердцевину. Дурманящие чары таились в глубине раскрытого венчика. Это был красный снотворный цветок, сорванный старцем в святая святых храма, цветок, аромата которого марсиане не вдыхали ранее последней своей минуты на Рале. Старец нес его высоко над головой, подобно факелу. Цветок дарил сон, забвение, им прикроет старец свое лицо, когда очутится один в канале, вдали от всех, кто мог видеть его.

Пурпурный цветок горел над его головой. Старец шел медленной, осторожной поступью, чтобы не уронить и не угасить цветочное пламя. Спутники следовали за ним также с поднятыми кверху жезлами. Длинная вереница золотых колосьев с колеблющимися в лучах полуденного солнца звездами-васильками извивалась по рощам и лесам. Наконец, без-

молвное шествие вышло за пределы возделанного пояса Раля. Перед ними расстилалась пустыня. Эрколэ обернулся и увидел лишь купола ступенчатых пирамид над сплошной стеной мраморно-серых стволов и золотисто-багряных древесных крон. Дорога пересекала великую пустыню. Желтый песок хрустел под ногами. Солнце зажигало искры на поверхности застывшего песчаного моря. Ни одного ростка не видно было в этом мире бесплодия.

Вдруг они очутились перед ущельем. Пустыня разверзала перед ними бездонный зев свой — пропасть с отвесными стенами. Из глубины ее торчали словно исполинские зубы: скалы, колонны, пилоны, конуса, ступенчатые пирамиды, хаотически-нагроможденные порталы—все произведения не рук человеческих, но причудливой дикой природы. Исполинские известняки, титанические горные формации, обтесанные исчезнувшими океанами, отполированные быстрыми потоками.

Лишь спустившись по извилистой тропе вниз, заметили земные гости еще глубже внизу большой канал. Он протекал по широкой ложбине между скалистыми стенами, напоминая огромную быстротечную и мутно-желтую, как Тибр, реку. Клокочущее шумное течение стремилось вдаль по прямой линии, без малейших извивов. Небольшие пороги вставали на его пути, образуя пенистые водопады и водовороты. Известковые троны, базальтовые колонны, блестящие

обломки скал торчали из воды, подобно головам драконов, плывущих против течения.

Тропа привела на самый берег реки. В небольшой бухте стояли на причале ладьи Смерти, на которых марсиане пускались в последнее плавание — настоящие скорлупки, которые сразу подхватывало течение и быстро уносило. Некоторым из жителей Земли они напомнили ряд гробов. Эти маленькие, узкие гондолы с местом для одного, много для двух, были выкрашены под цвет мутно-желтого потока, которому предстояло унести их.

Дрожь пронизала Эрколэ Сабенэ при виде этого угрюмого, безмолвного последнего этапа самоубийц Раля. Содрогался и фон Хюльзен, мысленно представляя себе эту бухту под зловещим покровом ночи, когда именно и грозило отправиться отсюда в последнее плавание, вдвоем с мертвецом, ему самому.

Но на этот раз отплытие было торжественным праздником. Убранная цветами ладья была уже отвязана и стояла на якоре у естественной арки из обломков скал, в конце маленького мола, огибавшего бухту. Старый вождь один направился по этому молу к арке, носившей название «грота Смерти». Там он снова обернулся к своим спутникам. Вечный обет молчания уже наложил печать на его уста и чело. Он выпрямился и с юношеской силой поднял жезл выше голов толпы, словно для последнего привета. Затем указал своим пламенным цветком на солнце.

Торжественный звон далекого гонга уже не достигал в это ущелье, и только шум потока нарушал здесь торжественную тишину.

Старец прошел в узкое отверстие естественного портика и скрылся в голубоватом сумраке «грота Смерти». Пристально устремленные туда глаза толпы стали уже заволакиваться солнечным туманом, как вдруг маленькая гондола закачалась на волнах потока. На корме во весь рост стоял отплывающий. Его красная туника развевалась от ветра, как парус. Посох высился подобно мачте, увенчанной огненным цветком.

Лодку подхватило течением и попутным ветром, и она быстро двинулась вперед, словно управляемая невидимым веслом. Цветочное пламя уносилось ветром, сыпало искры, пока не погасло. Кровавый след смыло желтыми волнами. Все было кончено. Одноцветная река бурлила между отвесными скалами пустыни.

«Безымянный» покинул тех, в чьем кругу провел свою жизнь на Рале, и отправился в обратный путь в «первобытное лоно», справив одновременно и праздник смерти и праздник рождения.

А все его спутники безмолвно вернулись в живой мир Раля.

XXXII.

Канал.

Фантазия Эрколэ Сабенэ опять заработала. Это добровольное расставание с жизнью произвело на него неизгладимое впечатление, хотя он попрежнему не мог смотреть на него иначе, как на самоубийство.

Когда его товарищи обсуждали разницу культур двух известных им теперь планет и находили, что Марс опередил Землю, он с ними не соглашался.

Правда, регламентация отношений между обоими полами обуздывала эротический инстинкт и обеспечивала здоровье и совершенствование расы; хищническая борьба за существование была укрощена; возможность перенаселения предотвращена; яростный эгоизм вырван с корнем, ибо разрушено было наваждение, заставлявшее гнаться за мнимыми ценностями, и нечего стало присваивать; пьянство и прочие виды одурманивания были выведены; религиозное чувство вылилось в простые, примитивные формы, более естественные, чем запутанные измышления земных умов. И тем не менее Эрколэ Сабенэ казалось, что вся эта идиллическая простота обесцвечивает жизнь на Рале, делает ее какой-то скудною, жалкою. Земное существование питалось куда более богатыми — пусть фантастическими — источниками;

оно было хаотично, ярко, красочно, богато! Культура на Марсе вернулась к примитивному монастырскому быту, где главную роль играли растения. Роскошное разнообразие животного мира было истреблено, наслаждения ограничены, жизненные инстинкты урезаны, радости сокращены. Жизнь утратила всю прелесть ожидания, напряжения, любопытства, стремления к неизведанному.

Аванти утверждал, что мерилом истинной ценности культуры является отношение к смерти: чем раса выше, тем слабее в ней страх смерти; добровольный уход марсиан от жизни являлся, по его мнению, лучшим доказательством обоснованности и целесообразности миросозерцания. Но Эрколэ упрямо не соглашался с тем, что возведенное в систему самоубийство свидетельствует о безбоязненном отношении к смерти. По его мнению, это, напротив, свидетельствовало о трусливом отвращении к смерти, мешавшем людям взглянуть в глаза смерти естественной.

Марсиане ненавидели болезнь и всякие изъяны. Беспощадно истребляли все хилое, неудачное, порочное. Они не понимали, что страдание — наиболее облагораживающая сила, что природные несовершенства, вольные и невольные неудачи и ошибки лучше, чем невозмутимое счастье, способствуют внутреннему росту и развитию души, что истинная свобода в покорно-радостном подчинении своей воли законам всебытия. Марсиане не знали возвышенного учения

об *испытании*. И смерть, тление внушали им только отвращение.

Но что было на земле прекраснее и чище скорби у смертного одра, оплакивания порвавшихся духовных и сердечных уз? Что больше сближает нас с всебытием, как не охладевающая в наших руках рука умирающего? И можно ли найти лучшее выражение присущего человеку благоговейного смирения перед законами всебытия, нежели обвеянные глубокою скорбью и ненарушимым покоем кладбища — земные хранилища наших воспоминаний?

Марсианам было чуждо подобное благоговейное чувство. Эти утонченные сверхъэстеты и усовершенствователи природы не выносили вида трупов. Поэтому они и смастерили себе топорную систему, избавлявшую их от всякой возни со смертью и ее жутью. Им нестерпим был вид смертного одра, трупный запах, всякое напоминание о скелете, который все мы носим под своей внешней оболочкой. Они старались увильнуть от мыслей о разложении и от картин смерти. Они вбили себе в голову, что отплывают на острова блаженных или возносятся на небо в огненной колеснице, вместо того, чтобы, подобно обитателям Земли, научиться бесстрашно смотреть смерти в глаза, взять, как Гамлет, в руки чей-нибудь пустой череп и сознаться, что раб и господин равны перед смертью.

Вместе с тем Эрколэ Сабенэ не мог отделаться от любопытства, возбужденного в нем каналом Смерти.

Никто и никогда еще не возвращался из плавания по этому потоку. Никто не сделал дерзкой попытки исследовать его русло. Стремление к новым открытиям на своей планете, повидимому, совсем угасло в марсианах. Они всецело ушли в культуру своих растений и в заботы об улучшении расы. Но они не знали ни искусства, как формы выражения человеческих идеалов, ни радостей мореплавателей, ни инстинкта исследователей, ни той жажды знания, которая гонит земные поколения за поколениями в опасные моря, к ледяным полюсам или на недосягаемые выси гор.

Марсиане в конце концов сами превратились в род растительных организмов, которые боятся границы вечных снегов, холодных пустынь, чреватых опасностями океанов. Все это стало для них царством смерти, леденящей неизвестности. Превращавшиеся в прах руины древности опоясали пустынями их населенные оазисы. И они даже не имели карты планеты, на которой жили, так как не выходили за пределы своих плодоносных рощ и садов.

Эрколэ Сабенэ видел в этом признак упадка энергии, недостаток любознательности, которая в сущности является, пожалуй, наиболее идеальным стимулом для человеческого духа! Что за радость была им в познании мириад недостижимых звезд вселенной, когда они не знали того, что было в двух—трех днях пути от их жилищ? На что им их превосходные живые летуны, если они не рискуют облететь и обсле-

довать всю пустыню вдоль и поперек, оставляют большую часть своей планеты загадочным мертвым царством? Но Эрколэ говорил с глухими. Никто не интересовался его планами новых открытий. Никто не соглашался отправиться с ним в экспедицию для исследования тех загадок, которые находились за пределами узкого населенного экваториального пояса. На судне, побольше и покрепче хрупких ладей смертников, снабженном достаточным количеством провианта, без сомнения, можно было бы безопасно проплыть по стремительному потоку и узнать, в какие новые и чудесные края он ведет. Может быть, такое исследование произведет переворот в мировоззрении марсиан и в их равнодушном отношении к участи своих мертвецов. Ни один марсианин не осмеливался ведь заглянуть за последнюю черту. Ни один еще не встретил смерть *зрячими* глазами. Раз погрузив свое лицо в снотворное лоно цветка, отплывающий уже не поднимал больше взгляда и, одурманенный, отплывал в «первобытное лоно», откуда никто еще не возвращался.

Пока другие ревностно изучали мир живых, Эрколэ Сабенэ все сильнее и сильнее проникался желанием доказать жителям Раля, как химеричны их представления о смерти, обусловленные их боязнью исследовать русло потока Смерти. Все чаще и чаще предпринимал он путешествия через пустыню к каналу, каждый раз с таким обильным запасом пищи,

что мог откладывать из него порядочное количество для экспедиции.

В пути он редко бывал одиноким. Часто нагонял он или встречал «живые похороны», как он их называл,—самоубийц с красным цветком в руках, в сопровождении большего или меньшего числа родных и друзей. Всегда в полном молчании. Самоубийца добровольно смыкал свои уста, пускаясь в последний путь.

Реже шествие провожало подлинно умершего: от несчастного случая, от разрыва сердца или другою внезапною смертью. Друзья и родственники несли носилки с покойником, лицо которого прикрывала красная маска снотворного цветка. Это было зрелище, понятное Эрколэ Сабенэ. Он одобрительно кивал, словно желая сказать живым: «И вам всем следует ждать, пока смерть сама придет за вами. Не надо итти ей навстречу. Природа, создавшая вас, сумеет и освободить вас. Плоды не падают с деревьев по собственной воле, но по закону тяготения. Раз вы верите в высшую разумную волю, то ждите, пока она не призовет вас».

Иногда попадались ему караваны, доставлявшие в «бухту Прощания» ладьи смертников. Приходилось ведь пополнять запасы гробов. Понемногу он хорошо освоился со всеми условиями. Только одна лодка имела постоянное назначение и место стоянки, была больше размерами и прочнее других, а кроме того,

снабжена веслами, рулем и багром, лодка, буксировавшая гондолы Смерти в «бухту Прощания». Эрколэ Сабенэ наметил себе это более прочное судно, чтобы попытаться с открытыми глазами пуститься вниз по течению и открыть конечную цель канала Смерти.

Этот план казался ему куда важнее стараний его товарищей составить карту и подробное описание населенного пояса Раля. Становилось стыдно за марсиан, не знавших собственной планеты, оставлявших лежать втуне, в бесплодии и во мраке неизвестности большую ее часть. Нельзя было вернуться на Землю, не выполнив этой задачи, не научив марсиан познать страсть открытий, исследований.

Кроме того, Эрколэ Сабенэ питал тайную надежду оставить по себе здесь прочную память, как о чужестранном госте, давшем толчок к введению обитателей Раля в полное владение Красною планетою и к отмене унизительных самоубийств.

XXXIII

Последнее плаванье.

Однажды, тихим осенним вечером, Эрколэ Сабенэ остался один у «грота Смерти».

Последние из провожавших очередного смертника давно повернули по направлению к лесам живых.

Словно вереница муравьев ползли они по искристому песку пустыни. Солнце садилось в той же стороне, куда стремился поток. Эрколэ Сабенэ спустился в ущелье и увидел кроваво-красный свод неба, в который упирались сходившиеся вдали отвесные, скалистые берега потока. С противоположной стороны, над раскаленным краем желтой пустыни, вынырнул один из спутников Марса. Вскоре шафрановый свет луны засверкал тонкой многозвенной цепочкой на поверхности стремительно бегущей «реки Смерти».

Он был наедине с небом и потоком. Высоко над своей головой он видел одинокого, озаренного кровавым отблеском заката летуна, стремившегося обратно в страну живых. Эрколэ различал широкие взмахи его крыльев и, казалось, ощущал веяние его огромного хвоста. Кругом царила полная тишина. Он слышал плеск воды о длинный ряд гондол, сбившихся у берега.

Минута настала. Но он не осмелился войти в «грот Смерти», похожий на мрачную кладбищенскую часовню, облитый красным заревом солнечного заката с одной стороны и фантастическим зеленым сиянием со стороны восходящей луны. Эрколэ знал, что грот предназначен лишь для избранных жрецов молчания, для великих «Безымянных». Ему не хотелось оскорблять священных верований жителей Раля. Взявшись за крепкий канат, которым была привязана большая лодка, он притянул ее к самому берегу. Большие

широколопастные весла, похожие на широкие плавники, лежали на днище лодки, не собранной из досок, но выдолбленной из цельного дерева, как суда каменного века. Марсиане не были мореплавателями; Эрколэ ни разу не видал на Рале лодки под парусом.

Эрколэ торопливо стал наполнять лодку запасами сушеных хлебных плодов, которые припрятал между скалами. Их должно было хватить надолго, а плавание по стремительно текущему каналу не могло быть особенно продолжительным. В конце канала могли встретиться изолированные поселения других племен, с иной культурой; в противном случае ему придется пешком возвращаться назад.

На берегу лежали большие кучи сухих листьев, которыми устилались ладьи смертников. Эрколэ сравнивал их со стружками земных гробов и доверху наполнил свою лодку крупными ароматными сухими листьями, чтобы защитить себя от ночной сырости и осеннего холода. Вечером было уже совсем не жарко. Затем он вошел в лодку, закутался в свой белый плащ и зарылся в подстилку из сухих листьев, воткнув рядом свой посох вместо мачты.

Сначала он намеревался дождаться утренней зари прежде, чем пуститься в плавание, и, сидя по пояс в сухой листве, созерцал, как восточная луна все выше поднимается на небе, подобно Иванову светлячку освещая ущелье канала. Но, когда он увидел вдруг в той стороне, где село солнце, краешек восхо-

дящего второго спутника Марса, то его сомнения стали рассеиваться. Двух небесных светочей, право, вполне достаточно на этом «несудоходном» канале. К восходу солнца он мог бы уплыть уже далеко и увидеть занимающуюся зарю над новыми берегами.

И вот, энергичная половина его души вдруг встрепенулась, выведя его из дремоты, в которую он невольно погружался в своей уютной постели из листьев: «Кто я? Исследователь или нет? Чего тут бояться? Надо немедленно пуститься по этому «священному» каналу, чтобы узнать, куда он ведет. На кладбище—куда же еще? На Земле мы хороним своих мертвых в земле, а тут их хоронят в воде. Но смерть есть смерть, и марсианам надо внушить эту простую истину. Для того и явился на Раль смертный земной человек, именем *Геркулес* [1])—хотя он вовсе не богатырь,—да еще *Осведомленный* [2]) на придачу—даром, что знает-то в сущности очень мало! Я не хочу покинуть Красную планету прежде, чем проплыву по ее каналу Смерти и докажу марсианам, что три аршина воды дают ничуть не больше бессмертия, нежели три аршина земли!»

Эрколэ Сабенэ поднялся и отвязал причал. В маленькой бухте течение было не сильное, и лодка медленно двинулась, задевая по пути хрупкие маленькие гондолы Смерти, словно прощаясь с ними

[1]) Геркулес—по-итальянски Эрколэ.

[2]) Сабенэ.

последним легким прикосновением. С помощью широколопастных весел он выбрался из бухты. И вдруг лодку разом подхватило и понесло, как попавшую в стремнину. Весла втягивало в воду, вырывало из рук, и Эрколэ судорожно сжимал их: ему чудилось, что стоит ему только выпустить из рук весла, как лодка перевернется. Теперь она стояла прямо, как бы подпертая лопастями весел, сжимаемых его немеющими пальцами.

С бешеной быстротой неслись мимо него скалистые стены, которые маленький спутник Марса преображал в фантастические, призрачные исполинские профили, причудливые фигуры, принимавшие вдруг облик сказочных чудовищ, не похожих ни на что известное Эрколэ и все же таращивших на него, как живые, свои глубокие глазницы.

Он не мог оторвать взгляда от бесконечной плоской боковой поверхности стены, стремительно проносившейся мимо. И вдруг понял, что именно она ему напоминает: потрескавшийся каменный пол церкви Марии Арачели встал вдруг дыбом и скользил мимо него со своими стертыми могильными плитами, над которыми он так часто впадал в раздумье. Затейливые, полустертые надгробные эпитафии, высеченные на камне фигуры со скрещенными руками, забытые гербы, обломки распятий, остатки мраморной мозаики—бесконечный пол из могильных плит, которые тысячу лет попирались ногами, стиравшими последние воспоминания о давно ушедших поколе-

ниях. Выступы и впадины стены напоминали ниши, в которых высеченные из пожелтевшего и посеревшего мрамора короли, кардиналы, князья и ученые мужи спали вечным сном на крышках своих собственных гробниц. «Молитесь за нас! Молитесь за нас! Молитесь за нас!»—неслись немые пыльные вздохи с бесконечных могильных плит, по которым равнодушно скользили взоры живых. Увы! Против вечного забвения не помогали ни мраморные памятники, ни стихотворные заклинания! Беспощадное время катило волны *забвения* по всем церквам. Вот какой поток увлекал теперь самого Эрколэ на этой чуждой ему планете, с которой он не был связан никакими узами, никакими воспоминаниями.

Эрколэ Сабенэ прикрыл глаза, утомленный созерцанием этих свидетельств бренности жизни. Не смешно ли, что и сам он, плывя по загадочному каналу, не придумал ничего лучше, как наполнить эту клокочущую бездну загадками земного происхождения, картинами и ассоциациями, принесенными с планеты, где он родился и воспитывался? Итак, он кинулся в Лету—поток, несущий его в подземный мир смерти; смерть—вот единое общее для обеих планет понятие. А он сидит тут и рисует себе земные иероглифы, грезит воспоминанием об Арачели вместо того, чтобы отдаться исследованию этой исполинской реки, соединяющей, повидимому, два моря с различным уровнем поверхности. Жалкий исследователь и путе-

шественник, неспособный сжиться с представлениями о новом мире, намеренно закрывающий свое зоркое око, чтобы не видеть ничего, кроме старого мира, где он родился!

Вся эта система каналов была, разумеется, делом рук человеческих. Остатком древней культуры, созданной исполинскими силами еще *до* всеистребительной войны, которая уничтожила машинную цивилизацию. Здесь, где теперь движутся вниз по течению лишь скорлупки со смертниками, некогда плавали огромные флотилии кораблей под надутыми парусами, огибая кругом богатую, густонаселенную планету. Этот канал, быть может, играл в свое время ту же роль, какую играют на земле искусственные каналы, прорезывающие перешейки и соединяющие океаны. Коринф, Суэц, Панама... Быть может, и на Земле забудут когда-нибудь их назначение и сделают из них последний путь для отбывающих из жизни?..

Эрколэ Сабенэ съежился в своем ворохе листьев. Он увидел, что каменные стены сдвинулись и окутали его своими тенями. Луна позади исчезла. Он схватился за весла, чтобы избежать столкновения с огромным каменным выступом, который оказался нижнею ступенью исполинской пирамиды. Канал, повидимому, разветвлялся здесь на несколько мелких русл, в которых течение было еще быстрее, стремительнее. Лодку втянуло в узкое ущелье, где вода бурлила и клокотала и словно закипала у близких берегов.

Эрколэ удалось в последнюю минуту избежать столкновения. Но проносясь мимо огромной, призрачной ступенчатой пирамиды, он различил мельком на первой надводной ступени груды каких-то скорлуп или раковин и словно вороха сухих беловатых водорослей, опутанных тиной. И вздрогнул при мысли, что скорлупы эти, пожалуй—выброшенные прибоем ладьи смертников, а беловатые стебли водорослей—покрытые слизью и тиной кости погибших марсиан.

Стоп! Дальше, значит, некуда стремиться! Здесь, следовательно, начиналось кладбище, где мертвые сваливались, как черепки, в одну общую мусорную кучу. Здесь, вероятно, лежит и мудрый марсианин, разлагаясь в этом «первобытном лоне», которое не что иное, как склад падали, куда не придет ни один смертный почтить цветами прах любимого усопшего. Здесь устье общей клоаки Марса. Все, что самодовольная и безжалостная аристократия поборников улучшения расы выбрасывала, как неудачное, недоношенное и порочное, изливалось здесь в одно общее болото, которое принимало и самих самодовольных аристократов расы, когда они находили нужным покинуть жизненный пир!

Итак, выхоленной культурной пирамиде живых *там*, в плодоносных садах Марса, отвечала *здесь* вот эта пирамида мертвых, более напоминавшая навозную кучу, чем освященные любовью могилы, куда опускают своих мертвых люди Земли. Жестокий языче-

ский образ мыслей марсиан привел их к тому, что они швыряли своих мертвых в клоаку; швыряли потому, что *боялись взглянуть в глаза смерти.*

Предположения Эрколэ Сабенэ оправдались. Но путь еще не был окончен. Проскользнув мимо ступенчатой пирамиды Смерти, лодка снова была подхвачена бурным течением. Отвесные скалистые стены время от времени прорезывались новыми поперечными каналами, впадавшими в главное русло. Эрколэ приходилось плыть по воле течения и ветра. Будь у него хоть маленький моторный двигатель, он мог бы сделать разведки в этих боковых каналах и открыть новые населенные местности. Теперь же он был щепкой, увлекаемой потоком.

Когда обе луны закатились, полоска неба над ущельем засверкала крупными звездами. То там, то сям падучая звезда срывалась с неба и падала на скалы. Эрколэ не спешил мысленно пожелать чего-нибудь, но маленькие описываемые метеорами огненные дуги уносили его воспоминания на Землю, где он пережил ночи, освещенные совсем иными, адскими огнями.

Он уже не различал берегов, мимо которых плыл, не ощущал попутного ветра за своей спиной; сидел безучастный, зарывшись в сухую листву, держа руки на веслах. Вода за бортом лодки глухо гудела, как струны. А его несло все вперед и вперед. Куда?.. Он не мог ни остановиться, ни пристать к берегу, ни вернуться назад. Невидимая сила завладела им;

его влекла могучая рука. А вдруг она сбросит его в водопад, в тучу брызг и пены? Эрколэ охватывало позднее раскаяние, что он не попытался вцепиться в выступ пирамиды Смерти вместо того, чтобы промчаться мимо—к неведомой, ужасной цели.

Ему стало холодно в отсыревшей листве. Голову он прикрыл плащом в защиту от холодного ветра, дувшего на него сверху, со звездного неба. Жажда палила его гортань, и он только теперь вспомнил, что забыл запастись питьем. Сухие плоды не шли ему в горло. Солона ли вода, по которой он плывет, или годится для питья?..

Брезгливый ужас долго удерживал его от попытки омочить язык водой из этой наполненной трупами клоаки. Но жажда мучила все сильнее. С трудом приподнялся он и погрузил руку в струи потока. Вода утекла между пальцев, но он приложил влажную ладонь к губам. И ему показалось, что кожа как-будто отстала от мяса и повисла лохмотьями. Всмотревшись, он увидел при свете звезд, что ладонь его была красна, как кровь, а затем к ужасу своему убедился, что к ней прилип огромный кровавый лепесток снотворного цветка. Струи, несшие его лодку, стало быть, несли еще и останки мертвых, и обрывки цветочных масок, прикрывавших их мертвенно-бледные лица...

Ногтями он соскреб с руки лепесток, как что-то ядовитое. И уже не помышлял больше об утолении

жажды. Прислонив голову к борту лодки, он в гнетущем болезненном полусне ждал наступления утра, которое покажет, куда занесла его ночь.

Отдаваясь болезненной дреме, он все же прислушивался к шуму потока, который грозно усиливался. Эрколэ попытался крикнуть, но крик застрял у него в горле. Он чувствовал, как одновременно увеличивается быстрота и сила несущего его течения; днище лодки дрожало. Скоро его закрутит водоворот и ввергнет в пучину, быть может, в самую глубь чрева Марса! Он видел в Тиволи подобный низвергающийся в черную бездну водопад. Его безудержно несет к ужасной конечной цели его пути. Красный снотворный цветок избавил бы его от зрелища приближающейся гибели...

Вдруг небо над ним просветлело. Звезды угасли. За спиной его вспыхнула яркая заря. Он не мог поднять головы, но видел, как отвесные скалы по бокам расступились. Верно, близко море! Через минуту—другую поток вынесет его в безбрежный, никогда еще не виданный им океан...

Он бессильно корчился на своем хрустящем лиственном ложе, пока, наконец, ему не удалось опереться головой на корму лодки и взглянуть вдаль. Предчувствие его не обмануло: поток несся вперед, образуя прозрачный стеклянный наклон. Шум близкого водопада уже гудел в его ушах. А вон и самый водопад... там, где дрожит в воздухе гигантский столб водяной пыли...

Внезапно канал вновь сузился, превратился в канаву, в ров. И Эрколэ узнал облако, ползущее ему навстречу, удава, свивающегося в кольца... пухнущего, заполняющего весь канал... Молочный туман застлал глаза Эрколэ, и он глотнул смерть, как абсент из бездонного кубка.

* *
*

...Утром Эрколэ Сабенэ подобрали в окопе. Стекла очков его маски были разбиты. Ядовитый газ разрушил его легкия. Но он лежал и грустно улыбался, словно ему приснился чудесный и скорбный сон.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
Предисловие *Анны Ганзен*	5
I Озеро Неми	9
II Ядовитый газ	16
III Спасен	22
IV Астрономический кинематограф	25
V В одиночке	34
VI Дезертиры	40
VII Подвальная обсерватория	48
VIII Падение на Марс	55
IX Радиоспектр	60
X Солнечная камера и камера Земли	68
XI Готовая книга	80
XII Дождь метеоритов	91
XIII В заколоченном гробу	103
XIV Солнце вернулось	112
XV Красная планета	119
XVI Земной эгоизм	130
XVII Атмосфера Марса	139
XVIII К цели	148
XIX Летуны Марса	154
XX Первая встреча	165

стр
XXI Полет 176
XXII Город и ущелье Возмездия 185
XXIII Обезвреженная планета 197
XXIV В священной роще 206
XXV На седьмой террасе 212
XXVI Великая всеистребительная война 219
XXVII Жрецы безмолвия 233
XXVIII Наука на Рале 243
XXIX Первобытное лоно 253
XXX Парк бесплодия 263
XXXI Навстречу смерти 270
XXXII Канал 281
XXXIII Последнее плаванье 287